

ЛЕОНИД
ПАСЕНЮК



ИДУ
ПО КОМАНДОРАМ



ЛЕОНИД ПАСЕНЮК

ИДУ ПО КОМАНДОРАМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ● СОВЕТСКАЯ РОССИЯ ●
МОСКВА — 1974

Пасенюк Л. М.

- П19** Иду по Командорам. М., «Сов. Россия». 1974.
288 с. с илл. на вкл. (По земле Российской)

Леонид Пасенюк — писатель-путешественник, автор шестнадцати книг: рассказов, повестей, путевых репортажей о Якутии, Камчатке, Курилах. Самые последние из них — «Четверо на голом острове», «Люди. Горы. Небо», «Путешествие на белой шхуне», «Островок на тонкой ножке». Неоднократные поездки на Командорские острова, дотошное изучение истории их открытия и освоения, пристальный интерес к живому миру природы, подчас уникальному, знакомство с живущими там молодыми учеными, звероведами, моряками, с их делом и заботами, наконец увлеченность фотоохотой — все это вместе и привело к написанию книги «Иду по Командорам».

7—3—2
53—73

91 (С 18)

«На границе Берингова моря и Тихого океана в расстоянии 97 миль от мыса Африка (Камчатка. —Л. П.) расположена группа островов Командорских... Группа Командорских островов состоит из двух больших, наименьшее расстояние между которыми около 24 миль, и двух малых островов со многими мелкими отдельными складками.

...Острова 0,8 всего навигационного времени находятся в тумане и не располагают ни одной совершенно укрытой якорной стоянкой. Частые туманы и отсутствие хороших якорных стоянок на островах заставляет мореплавателей сокращать время пребывания под их берегами до пределов строгой необходимости».

Лоция,

КОМАНДОРЫ ЗОВУТ



О Командорских островах слышал каждый¹. Но подлинным знанием жизни здесь, хотя бы в пределах достаточной книжной осведомленности, мало кто может похвастать. Туманная, дождливая земля. Котики. Кажется, там разбился корабль Витуса Беринга...

Не больше знал и я, когда собирался наведаться сюда впервые. Просто казалось неудобным быть на Камчатке и не взглянуть хоть одним глазом на эти самые Командоры, когда до них полтора суток ходу на грузопассажирском судне. Словом, тяга к Командорам возникла почти бессознательно — так мы мечтаем о том, что хорошо бы съездить на Багамские или Бермудские острова, толком даже не представляя, где они есть и что нас может там заинтересовать. Признаки вот такого любопытства к неведомым землям можно встретить у многих. Правда, мало у кого случайный интерес способен породить дальнейшее действие, в конечном счете — само путешествие. Не каждому, как говорится, дано — и причины тут разные.

Для меня первая поездка на Командоры послужила как бы затравкой, теми дрожжами, на которых возшла уже неистребимая увлеченность дальней океаниче-

¹ Впрочем, как сказать: однажды я пригласил знаменитого конькобежца, повидавшего многие столицы мира, на просмотр редких по красоте и своеобычности цветных диапозитивов Командор. «Прости мое невежество, — без тени улыбки сказал он, — но Командоры — это где?..» (Здесь и далее примечания автора.)

ской землей. Эта увлеченность заставила меня перечитать почти все, что можно было разыскать в наших библиотеках об истории Командор, о растительном и животном их мире. И чем больше я узнавал, тем сильнее хотелось рассказать об этом другим. Рассказать подробно и обстоятельно, основываясь вдобавок на свежих личных впечатлениях. На впечатлениях путешественника, предпочитающего всем видам передвижения по земле один, зато самый древний, самый испытанный — пеший... С рюкзаком за плечами. Автомобиль, скажете вы? Самолет? Все это очень хорошо (правда, не везде есть дороги и не всегда на воздушных трассах погода). Но и в наше время, если не считать космоса и глубоководных впадин, многие открытия принадлежат либо пешеходу, либо человеку в шляпке (вроде Бомбара). Только пешеход может еще что-то найти в стороне от проторенных дорог.

Иногда неважно — что. Скорее всего какую-нибудь малость. Но если эта малость способна доставить удовлетворение пешеходу и тем, с кем он поделится радостью своего маленького первооткрытия, ради этого уже стоит ходить по Земле.

Бенгт Даниельссон, один из участников беспримерного плавания на бальсовом плоту «Кон-Тики», однажды заметил: «Если раньше достаточно было открыть остров — и ты уже считался путешественником, то сегодня этот остров нужно «рассмотреть в микроскоп».

Да, для большинства современных читателей литература, особенно путевая, это прежде всего познание мира. Потому-то и радуешься каждому, я бы сказал, оперативному свидетельству о земле, в которую влюблен, о которой собираешься сказать и свое слово. Потому-то и привлек меня однажды очерк камчатского журналиста Михаила Жилина. Он приехал на острова

впервые по заданию газеты и писал о том, что заботило местных жителей: о картошке и заготовке силоса, о сборе грибов и ягод на зиму, о стиле руководства зверокомбинатом «Командор». Люди островов стали Жилину близки. Через год-другой он снова приехал к ним, жил с ними, вникал в каждую мелочь островного быта. Однажды, попав в пургу, сильно простудился.

Но Миша Жилин решил, что с лечением успеется. Вскоре от него пришло письмо, что, если я действительно собираюсь на острова, он охотно составит компанию. Есть-де несколько причин, заставляющих его не упустить случая. Во-первых, вот-вот исполнится 225 лет со дня открытия Командор. Дата важная. Во-вторых, кто-то будто бы хлопочет о разрешении на раскопки землянок экспедиции Беринга и попутно на вскрытие захоронений алеутов острова Медного.

Ну, что касается захоронений на Медном, можно было догадаться, откуда ветер дует. Некогда американский антрополог, чех по происхождению, Хрдличка, а потом молодой ученый, ботаник и этнограф Тед Бенк II разыскали на Алеутских островах несколько захоронений мумифицированных алеутов. Ценность для этнографической науки огромная. Какой музей мира не стал бы гордиться приобретением подобного экспоната?!

Хрдличка был в 1938 году и на острове Медном¹, однако обнаружил здесь только поздние погребения. Да иначе и быть не могло: алеуты живут на Командорах немногим меньше полутораста лет, с тех пор, как

¹ Матросам его шкуны, смутно представлявшим жизнь Советской страны, местные жители подарили несколько журналов «СССР на стройке». Об этом вспоминал в разговоре со мной ученый секретарь Института вулканологии И. Ф. Махоркин, учительствовавший тогда на острове Беринга.

русское христианство уже привило им другие обычаи погребения умерших. Само древнее искусство мумифицирования покойников давным-давно позабыто и в местах исконного обитания алеутской народности.

Однако несерьезная мысль порываться в могилах алеутов острова Медного (как более отдаленного и малодоступного для всякого рода искателей) кое-кого не на шутку смущала.

Что же касается меня — мир живой и разнообразной командорской природы будоражил душу, вот что не давало мне — да и Мише Жилину — покоя! Особая настроенность этой океанической земли, отороченной пеной штормовых накатов, убаюканной шелестом буйных трав, таких, что в рост человека. Земли под крылом дождей...

Однажды мы путешествовали по Медному втором — я, биолог Сергей Владимирович Марakov и один простодушный парнишка, охотовед с Камчатки. Пронзительная опрокинулась над островом синева. Куропатки неподалеку кракали. С берега несло душным медовым настоем каких-то желтых цветов.

— Замечательная земля, — изнемогая от обилия впечатлений, сказал неожиданно тот паренек. — Еще бы лес здесь рос...

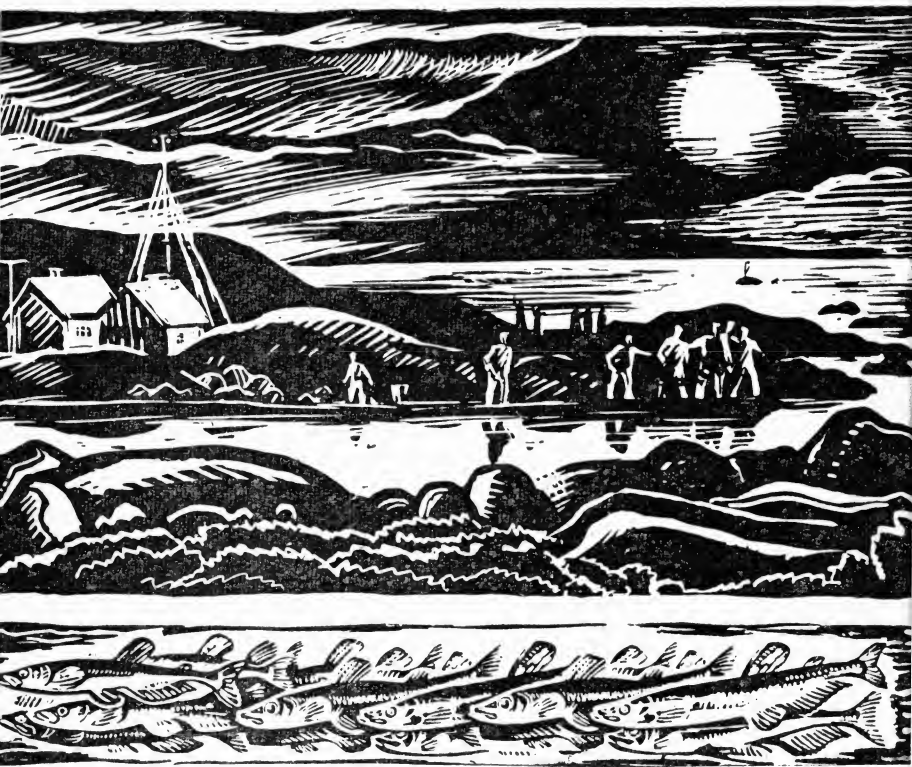
— Ну нет, не скажите, — возразил Сергей Владимирович, — в том-то, быть может, и все труднодостижимое, неопределимое словами очарование этой земли, что нет здесь леса, зато есть раздолье, простор для глаз. Оттого-то здесь и возникает, видно, эта вот душевная окрыленность... всегда тянет куда-то, всегда чего-то ждешь. Даже дожди — и те отрадны, есть в них некая поэтическая грусть.

Не могу не согласиться с ним. Не потому ли я опять на Командорах? Впрочем, этому поспособствовали и ра-

нее завязанные знакомства. Добрые знакомства с добрыми людьми.

Следует оговориться, что я побывал здесь в 1959, 1966, 1967, 1969, 1971 и в 1972 годах и для большего удобства изложения событий иногда мне придется смещать их во времени. В общем, достоверности книги это не нарушит. Тем более что это вынужденное смещение ни в коей мере не коснется исторических фактов.

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
В НИКОЛЬСКОМ



Трудно передать чувство душевной приподнятости и острого любопытства, с которым я хожу всегда по земле острова Беринга, по улицам единственного здесь села Никольского (уточняя заодно, что оно является центром Алеутского национального района, расположенного на Командорах).

Может, старожилы ко многому уже привычны и вон ту ребятню, шлепающую босиком поблизости от Гаванской речки с какими-то дротиками в руках, попросту не замечают. Хотя вода ледяная, носы у мальчишек мокрые, и гнать бы их следовало оттуда. Но никто не гонит. Оказывается, после отлива в лужах вдоль речки остается не успевшая улизнуть камбала, плоско прилипает ко дну, ждет часа, когда опять придет большая вода. Тут-то мальчишки и высматривают ее, пронзают дротиками насквозь.

Потешный промысел! Но разве сравнить его с ловом уйка, маленькой шустрой рыбки (по определителю она известна как мойва). Когда подступает пора, уёк собирается в плотные косяки и идет к берегу. Здесь он мечет икру, приклеивая ее к водорослям. Обычно это происходит ночью.

Волна густо выплескивает рыбку на мелководье, где ее уже поджидают с ведрами, сачками, со всякой рыболовной снастью толпы людей. Лов уйка — не только промысел, это еще и празднество, ночная феерия, веселая толчея людей, поголовно знакомых друг с другом.

Здесь начальство, здесь и рабочие, здесь учитель, здесь и его ученики... Все равны перед богом спортивной охоты. Все спешат. Ведь нерест проходит быстро — ночь, две, редко три... В конце мая либо начале июня. Тут уж смотри не прозевай: примерно за неделю до лова теплеет вода и к берегу устремляются мириады светящихся микроорганизмов. Они-то и вызывают ее свечение, флуоресценцию. Зачерпнешь, а вода в горсти как живое серебро, холодным расплавом льется между пальцами. Значит, скоро пойдет уёк.

Случаются «неурожайные» годы, когда уйка и в глаза никто не видит: не подошел. Но чаще на берегу творится нечто несусветное. Достаточно, даже не заходя в воду, зачерпнуть сачком с берега — и почти ведро. А остальное можешь добросать горстями.

Многим запомнился студент-практикант, который, впервые увидев нерестовое безумство этой рыбки, воскликнул: «Братцы, да я в ней купаться буду!» И как был в одежде, ринулся в воду, разбрасывая руками фосфоресцирующее скопище уйка.

Словом, ход уйка — одна из занимательных и посвоему значимых примет островной жизни. Кстати сказать, если ход большой, уйка ловят и для зверофермы. Кажется, ерунда, мелочь, чудное времяпрепровождение, — ан нет — есть определенная выгода.

Однажды мне пришлось наблюдать, как удобрял под картошку свой огород тогдашний секретарь райкома партии Василий Романович Болтенко. В агрономии он, видно, хорошо разбирался. Несколько ведер посадил без затей, с традиционным, так сказать, навозом, несколько — с морской капустой, длинные стебли которой его сын Андрюшка тут же таскал с прибойной полосы, а что осталось — с уйками. Андрюшка аккуратно укладывал в каждую лунку по два уйка, а между

ними половинку картофелины. Получалось забавно, вроде натюрморта.

— Рассчитываете на приличный урожай?— кивнул я на последние лунки.

— Почему не рассчитывать,— сказал Василий Романович, усмехнувшись.— Опыт уже есть, не впервые. Вот разве песцы до уйка лакомы, но будем надеяться, что не унюхают.

Так вот, раз уж пошел разговор о картошке: без нее хоть где не проживешь. Не тот будет у жизни вкус. Правда, обходились когда-то, а как — диву даюсь. Впервые картошка была завезена на Камчатку в 1780 году ее начальником Рейнеке, всемерно способствовавшим развитию на неприютном вулканическом полуострове овощеводства.

Новое прививалось с трудом. Потому-то, как свидетельствует очевидец, и не вникали жители особливо, «которую есть-то надо, то ли исподнюю эту репку самую, то ли траву». Ныне же Камчатка не только полностью обеспечивает себя собственной картошкой, но в урожайные годы продает ее и соседям — Магадану, Анадырю...

Думаю, что наступит такая пора и на Командорах. Климат здесь, правда, посырее камчатского, редко выдаться солнечный день. Тем более поразительно, что местные почвы при хорошем уходе за ними способны дать урожай сам-семь и даже больше. Не то что способны, а дают, сам тому свидетель. Хотя бы у старожилов села Никольского. Да, пока огороды в основном у старожилов, у тех, кто прочно врос всеми корнями в островную землю. Большинство же приезжих — молодежь, холостяки — рассчитывают на соседей, на магазин... Но куда проще завозить сюда консервы. Овощи плохо переносят дорогу, особенно морскую. Потому-то

мне представляется общественно значимым стремление многих командорцев обеспечить себя картошкой, репой, в летнюю пору свежей редиской к столу, не зависеть хотя бы в этом от централизованных поставок.

Хотя пассажирские теплоходы в летнюю навигацию заходят сюда точно по расписанию — раз в десять-двенадцать дней. Каждый такой заход — маленький праздник для села. Все, кто свободен от службы и домашних хлопот, обычно спешат на пирс. Встречающие, провожающие, просто любопытствующие. Как-то вечером, еще засветло, догнал я по дороге к пирсу Василия Андреевича Дергунова — первого секретаря Алеутского райкома КПСС. Пошли вместе. Человек он здесь новый, приехал на исходе лета 1971 года. Вскоре обнаружилось, что Василий Андреевич — завзятый книголюб, и я довольно быстро с ним сошелся.

Минуя остров Топорков, на рейд медленно вплывал расцвеченный огнями океанский лайнер «Петропавловск».

— Все, ближе не подойдет, сейчас бросит якорь, — сказал я и спохватился. — Между прочим, Джозефа Конрада страшно возмущало это выражение — «бросать якорь». Якорь никогда не «бросают», как что-то бесполезное и никому не нужное, уверял он, и просто преступно против ясности и точности языка обращаться с техническими терминами так бесцеремонно. Якорь «отдают», судно наконец может «стать на якорь».

— Вы читали Конрада? — оживился Василий Андреевич.

— Еще бы! Любимый писатель.

Оказалось, что и у моего собеседника Конрад в большом почете. Для него было неожиданностью, что недавно у нас издавался двухтомник Конрада.

— А я у букинистов покупаю разрозненные тома, —

сказал он расстроено и тут же добавил с ноткой превосходства: — Зато у меня есть Капитан Марриэт! Бьюсь об заклад, что у вас нет Марриэта!

Явная склонность Василия Андреевича к писателям-маринистам объясняется просто: он и сам по образованию моряк. Кончал Астраханское мореходное училище. И будучи уже на партийной работе, заочно — Высшую партийную школу...

Разговор наш с высот литературных мало-помалу сошел к повседневности, коснулся насущных нужд района. Василия Андреевича беспокоила нехватка воды в селе. Есть возможность тянуть водопровод от речки Каменки — утверждены и проект, и смета. Но далеко — это когда еще Улита будет! Нашли хорошую воду совсем рядом, но нет на строительство этой нитки водопровода ни проекта, ни сметы. А время не ждет.

Я в свою очередь поинтересовался картофелем.

— Тонн шестьдесят-восемьдесят мы еще завозим, куда денешься, — пожал плечами Василий Андреевич. — Обеспечить себя картошкой — одна из первоочередных наших задач. Вы же знаете, что в индивидуальном порядке, то есть частники, выращивают ее вполне успешно. Картошку, не ахти, правда, какую, дает зверокомбинат. Удобрений достаточно, все свои местные, — так что задача вполне по плечу. Ей бы только побольше внимания... да и средств. Со средствами, конечно, сложнее.

Дергунов сухощав, подвижен, сравнительно молод — лет под сорок, пожалуй... Энтузиазма ему, видимо, не занимать. Однако и забот препорядочно. Картофель для населения — лишь одна из многих. Неплохо было бы и капусту свою иметь. Правда, как ни стараются командорские овощеводы, не дает она кочана. А если подобрать особый сорт и высаживать в горшочках

да ухаживать как следует? Затраты немалые. Но все же меньшие, чем накладные расходы на ежегодную доставку сюда капусты.

Овощеводство на Командорах — проблема, которая всегда в повестке дня. Но едва ли не главное здесь занятие все-таки промысел котика. Впрочем, рассказ о котиках еще впереди.

Итак, уёк появляется в июне, это уже лето, повсюду в природе оживление. Хотя здесь, пожалуй, нет «скучных», пустых месяцев, не отмеченных в фенологическом календаре островной жизни тем или иным зримо, наглядно развивающимся биологическим циклом. Редко где можно так вплотную наблюдать ход разнообразно протекающего живого бытия — от нереста крошечной рыбки или кладки яиц у чаек до грандиозных — над гладью океана — прыжков китов-исполинов.

В феврале—марте можно полакомиться моллюсками-мамаями. Ветер в это время дует преимущественно на берег, мамыи с приливом выползают подальше, а потом, по отливу, не успевают отползать назад, — вот тогда-то их усиленно собирают. Вареное их мясо вкусом напоминает крабов. Чуть позже к берегу подходят морские лягушки-прилипалы (тоже довольно странные рыбы, здесь их зовут «мяконькими»). Они вроде бычков, только еще округлей сверху, а снизу большая присоска. Нерестятся на литорали, неподалеку от берега. Достаточно ленивые для того, чтобы перемещаться вместе с приливо-отливным циклом, они прилипают в углублениях под камнями, откуда полностью не уходит вода. Бродя после отлива, промышляют их все кто горазд — для этого стоит лишь пошарить крючком под камнем. Хороша из «мяконькой» уха.

Еще лучше уха из нерки, или красной. Ее ловят в начале июня на озере Саранном, что в двадцати четырех километрах от Никольского. Двадцать четыре километра для нас с Жилиным не расстояние, была бы знакома дорога (а именно на ней моего спутника прихватила однажды жестокая пурга). Сейчас пурги бояться нечего, да к тому же туда на тягаче с прицепом едут госпромхозовские рыбаки.

Дорога еле видна — говорят, еще до революции алеуты расчистили и прокопали ее между кочками. Каторжный был труд. Но ехать по ней сейчас нельзя: местами снег, местами вязкая грязь. Тает. Тягач — и тот натужно ползет в обход, взбирается на раскисшие увалы. Вот и Саранное выглянуло — в нем до десяти километров протяженности и не менее четырех в поперечнике. Оно очень глубокое. Над Командорами в годы второй мировой войны часто пролетали американские самолеты — бомбить базы японцев. Один из бомбардировщиков-гидропланов — видно, подбитый — вынужден был сесть на озеро. Вскоре рядом опустился другой, забрал пострадавших летчиков, а самолет расстрелял с воздуха. Он и до сих пор лежит на дне Саранного...

Здесь стоит хороший дом. Оставляем в нем свой скарб, фотоаппараты берем наизготовку — и сразу же вниз, к речке, соединяющей озеро с морем. Это первый выезд на лов, и у всех нетерпение. В считанные минуты разобрана снасть. Видно, как у берега ершится, плещет вода, как стремительно вспарывают ее поверхность плавники. Улов будет!

Чудная рыба! Отнерестится и погибнет. Погибнет во имя продолжения рода. Правда, после нереста она еще долго безвольно и вяло бродит по мелководью, но мясо ее теперь годится разве только на удобрение речной дельты. Казалось бы — ну что за нелепость! Но, воз-

можно, и это «продумано» природой, сведено в некую нерасторжимую цепь: на питательном донном субстрате речки быстрее потом разовьются мальки.

Заводим сеть. Без лодки, прямо с берега, разве что нужны хорошие сапоги-бродни. Через полчаса сеть притонена — в ней сотни две тугих, с зелеными спинками, нерок, еще необтрепанных преднерестовыми мытарствами, свеженьких.

На ужин — уха, целое ведро ухи, сдобренной «алеутской петрушкой». Это невидное растеньице лигустик, о котором мне известно лишь то, что его лекарственные и пищевые свойства ни в какой специальной литературе не отражены. Значит, никто всерьез лигустик не изучал, руки не дошли. Однако алеуты давно заметили, что он возбуждает аппетит, придает аромат супам, особенно рыбным; они солят и сушат его впрок, чтобы хватило на долгую зиму.

Ужин проходит оживленно. Главный здесь говорун — Апполинарий Игнатьевич Бадаев, кочегар исполкома. (Ну а ловом рыбы занимается постольку, поскольку для любого алеута нет большего удовольствия.) Жизнь он прожил богатую приключениями. Наш водитель Толя Чеботков, демобилизованный паренек со щегольскими усиками, слушает его разинув рот, хотя ему давно уже известны все похождения Апполинария Игнатьевича. Я тоже кое-что слышал, но не из первых уст.

Утром еще раз забрасываем сеть, — нерки оказалось гораздо больше, по-видимому, начался полный ее ход. Возвращаемся в Никольское с прицепом, загруженным до краев.

Казалось бы, достаточно о рыбе. И такой лов, и этакий. И ночью, и днем. И сетью, и просто руками. Но как не отметить еще и лов рыбы в море «на поддев»! Своего рода спортивное рыболовство. Только есть у тебя спар-

тивный навык, либо ты впервые взял в руки удочку — разницы нет: улов обеспечен в любом случае. Да какой! Лавливали тут и по полтонны на брата — трески, красных с чернью терпугов, франтоватых окуней, увесистых палтусов. Посмотреть на это довольно-таки увлекательное зрелище меня частенько приглашал инспектор рыбнадзора Егор Томатов, имеющий моторную лодку и всю необходимую любителю снасть.

— Приличные клыки моржа этой весной нашел, — похвастался как-то он. — Зайдем, посмотрите.

Пока шли, рассказал нам с Мишей о косатке, затертой однажды льдами у берега, о кашалоте, выброшенном в Китовой бухте еще в ноябре, о том, что у мыса Командор до сих пор лежит клюворыл...

Клыки оказались массивные, гладкие, без изъяна... Мой неугомонный дух коллекционера морских редкостей взыграл и при виде зубов кашалота, расположенных у него на этажерке вроде семи слоников.

В селе как раз продавали нерку, ту, которую мы недавно ловили, и у жены Томатова уже были готовы пельмени из свежей лососяны — блюдо отменного вкуса, с лучком, с перцем, со всякими приправами, как и положено быть. Затем был подан к столу тушеный топорок.

— Уважаете такую дичь? — спросил Егор.

— Уважаем, — сказали мы в один голос; хотя не то чтобы особенно уважали, но, по крайней мере, пробовали и прежде.

— А мне топорок этот лучше, чем любые ваши консервы, — продолжал Егор, усмехаясь. — Да чего там, практически я ем все, из летающих разве только что самолетов не ем, из четвероногих — табуреток. А нерп, осьминогов, топорков, моллюсков — это я с полным моим удовольствием.

Весь он какой-то громоздкий, громогласный, лицо у него хитрой лепки, с крученой нашлепкой на подбородке, которую выбрить — немалое искусство надо приложить. Характер общительный, но если уж, как говорится, дело пойдет «на принцип»... Словом, на должности инспектора рыбоохраны другого человека и представить трудно. А должность эта беспокойная. Лосось идет в реки все лето: сейчас нерка, чуть позже горбуша, потом еще кижуч... Томатов наблюдает и за тем, чтобы никто и ничто не нарушало покой котиковых лежбищ. Часто приходится вступать в спор с судами-китобойцами, норовящими промыслять китов в запрещенной зоне вблизи командорских берегов; смотришь, какой-нибудь мазут после них останется на воде, котик этого не любит, да и мех страдает. А за китобойцем попробуй угнаться на катерке рыбоохраны, хотя и название у него неунывающее: «Бодрый». Не схитришь — не поймаешь.

— Да уж должность тоже, — пригорюнилась жена Томатова. — Все на тебя волком смотрят. Тут бабы мне тычут: сами-то, мол, рыбку потребляете. Как же, потребляем, говорю. Вот эту из магазина, если завезут. Или треску. — Пожала плечами. — Не верят.

— На каждый роток не накинешь платок, — отмахнулся Егор. — Пушай языками треплют. А браконьерам пощады не будет.

Человек он не очень-то образованный, но, я бы сказал, грамотный житейски, с толку такого не собьешь.

— Примерно так вот, — сказал он на прощанье, — наши девки и пляшут: по четыре в ряд.

Это надо понимать в том смысле, что так, мол, мы и живем каждый год, помаленьку воюем, отстраиваемся здесь, наводим шик-блеск... И впрямь изменений в Никольском немало. Раньше село было сплошь одно-

этажным и каким-то серым с виду. Ныне краски его разнообразней, пестрота их в рассеянном тумане раду-ет и веселит. На горке повыше вырос двухэтажный пос-елок на мощных бетонных основаниях. (Если говорить сухим языком цифр, то к последнему времени здесь по-строены и сданы в эксплуатацию 16 двадцати- и вось-миквартирных домов, больница, электростанция, холо-дильник на 250 тонн, центральная котельная, аптека, пожарное депо и пристройка к школе.)

Словом, нравится здесь Егору Томатову. Сам-то он из Крыма. Иногда ездит в отпуск. И всякий раз возвра-щается. В Крыму не то, хотя и море теплое, и фрукты, и быт понарядней. Посмотришь на этого высокого, креп-ко скроенного, ладно сбитого да вдобавок озорного че-ловека — как-то даже согласишься с тем, что здесь ему просторней. И здесь он пользуется авторитетом.

Я не раз задумывался над истоками этого авторите-та. И над тем, какие же нужны изобразительные сред-ства, какие краски и подробности, чтобы убедительно, объемно, что ли, описать Егора Томатова. Не внешне. Внешне-то он как раз приметен. Внутренне. Духовно. Потому что если написать — принципиальный, знаю-щий свое дело товарищ, то вроде бы и мало для «объем-ности», ведь сколько у нас таких. Для полноты впечат-ления нужно разве, чтобы он сонеты Петрарки читал¹. И чтобы некое увлечение, хобби ему покоя не давало — ну, допустим, охота или коллекционирование видовых открыток, применительно к Командорам — островных редкостей. Но ничего он всерьез не коллекционирует

¹ (Бывает; однажды на Камчатке, в Усть-Хайрюзове, жил я не-сколько дней у милиционера, запоем читавшего переводы с древне-греческого — «Пестрые рассказы» Элиана, «Эфиопику» Гелиодора; без тома «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха и спать не ложился.)

и сонетами явно пренебрегает. Больше книги про природу его привлекают, но тоже в меру. И без книжек природу знает, в научных трудах на его свидетельства ссылаются.

Потом меня как бы осенило: да что тут мудрствовать, лично мне Томатов близок тем, что отзывчив, что любит он людей. Как-то необнаженно любит, по-своему, без сантиментов, со снисходительным юморком и, по-видимому, даже сам не замечает, сколько походя добра им делает.

Вот собираюсь я побродить в одиночестве по острову (допустим, есть у меня определенная цель), и Томатов обязательно даст самый подробный инструктаж. Но и я остров немного знаю, потому кое-какие его советы принимаю не сразу.

— Не-ет, юрташка в той бухте хорошая,— возражает он,— это ты брось, там вполне можно жить. Ты вона когда ночевал, позапрошлым летом, а я нынешней зимой печку там отремонтировал, стены подлатал, нары сколотил.

Если, придя на ночлег в эту либо другую юрташку, вымокший под дождем и усталый, обнаружишь у печки колотые сухие дрова, а на стенке кульки с сахаром и макаронами — это опять-таки постарался Томатов.

Либо попросит его заезжий геолог:

— Егор Петрович, завтра воскресенье, но, может, подбросите меня на вездеходе к Тонкому мысу — там где-то аметистовая жила на поверхность выходит, надо бы глянуть.

День ли, ночь ли — Томатов всегда готов. Главное — чтобы вездеход был исправен и чтобы начальство разрешило, а за водителем дело не станет. Ему в конечном счете и самому любопытно посмотреть, что там за жила, да еще аметистовая. Привезет сиреневый камень со

свежим изломом, поставит дома на тумбочку... Теперь и другим эту жилу покажет.

Появились в селе девушки-орнитологи — Эля Михтарьянц и Люба Фирсова. Им предстояло провести лето в палатке на маленьком островке Топорковом, — там одни только птицы да полно клещей. И нет даже пресной воды. Не Томатова это забота — однако все лето он доставляет девушкам на моторке воду. Не так-то и близко — километра четыре надо волну давить. Хорошо, если ветер не усилится да мотор не заплеснет.

Отстала от группы туристка — а где жить?

— Правда, — сказала она мне, — снабдили меня на Камчатке адреском. Чуть что, мол, тут есть Томатов. Он устроит.

Я и сам не раз давал его адресок москвичам, жаждущим повидать Командоры. Найдете, мол, Томатова там. И все будет в порядке. С ним не пропадете.

Немного докучает ему домашнее хозяйство — хочешь не хочешь, а жене надо помогать. Куры, поросенок, корова... Однажды разозлился и заявил:

— Надело! Вот зарежу корову и уеду в Антарктиду.

Год спустя корову действительно зарезал, но, при всей неугомонности натуры, в Антарктиду все же не поехал. Да и зачем? Он к островам душой прикипел. Здешнюю жизнь принимает широко и, я бы сказал, радостно. Что касается снега — за ним на край света ехать не нужно. Девять месяцев тут зима, а в три вроде бы летних без телогрейки на улицу тоже не сунешься.

Вечерами нам не скучно. Мы тут вполне уже люди свои. Тем более в редакции газеты «Алеутская звезда». Здесь можно прямо с телеграфной ленты узнать по-

следние тассовские новости, разведать, какой транспорт сюда подходит и что везет, можно просто отдохнуть, слушая магнитофонные записи, полистать у печки старые подшивки. Газета у командорцев хоть и небольшая, двухполоска, зато насыщена информацией до предела: есть в ней место и стихам, и прозе, и восторженному слову краеведа...

— И вообще газета с наваром,— довольно заметил однажды Миша Жилин,— есть что почерпнуть.

— Ну что, ребята, может, пойдем домой,— скажет редактор, когда дела по очередному номеру закончены; в газете все сотрудники молодые, молод и сам «шеф» Гена Баланев.— Пойдем протопим да заварим чай погуще. Где-то там у меня лимон заваялся.

Что и говорить, это редкость, хотя и завозят изредка сюда цитрусы. И еще яблоки. Лимон, на который Гена намекнул, я уже видел. У него какой-то мумифицированный вид. Оказалось, что хранился в луке: корка при этом способе сохнет, и сочная сердцевина остается как бы в жестком сосуде.

Гена мастер растапливать свою печку, приноровился; я не сразу уразумел всю сложность нагромождения разных дощечек, на которые потом можно безбоязненно сыпать уголь. Топят здесь привозным углем. Десять рублей тонна. Государству, правда, завоз одной такой тонны угля обходится значительно дороже — более восьмидесяти рублей. В старое время суда приходили сюда редко, снабжали население всем необходимым для жизни плохо, в топливе всегда ощущался недостаток. Здесь иной раз сжигали даже юколу прошлогодней заготовки; жира в ней много, и она хорошо горела. Сейчас это кажется кошунством. Что касается топлива, то на худой конец тундра изобилует торфом, разве только сушить его негде. Моросит и моросит так назы-

ваемый бус, этакая пылящая туманность, и ощущение сырости преследует почти всегда.

...В стенку стучат: в соседней квартире живут молодожены Саша Евстифеев, секретарь райкома комсомола, и Тамара Вожикова. Отец ее русский, приехал на острова еще до войны после демобилизации да так и прижился здесь; мать — алеутка. Стук в стенку — это условный сигнал: нас приглашают на ужин. Поздновато, однако охотно соглашаемся: у Евстифеевых чисто, тепло, уютно. Не то что у нас — «холостяков».

А как же лимон? Так он ведь «мумифицированный», не пропадет.

БУСЫ И ПУШКИ
ЭКСПЕДИЦИИ БЕРИНГА



Грешно было бы приехать за столько тысяч километров и не побывать в местах, связанных с Берингом. Там, правда, не воздвигнут величественный памятник, но, если верить лоции, до 1933 года еще стояли юрты, в которых жили участники Второй Камчатской экспедиции (уточню, что лоции верить все же не следует, имеются в виду землянки более поздних промысловых партий).

Каковы были задачи экспедиции и что с ней произошло? Судьба ее настолько драматична и примечательна достигнутыми результатами, что требует подробного и обстоятельного рассказа.

Возвращаясь в 1697 году из Голландии в Москву, Петр I повстречался с выдающимся и весьма разносторонним ученым Лейбницем. Практика торговых связей и мореплавания тех лет требовала изыскания новых, более коротких путей сообщения между материками и странами. Лейбница, в частности, занимал вопрос о возможности существования пролива между Азией и Америкой. Для России такой пролив означал бы прежде всего немалые выгоды в развитии мореходства, нацеленного на освоение еще неизвестных земель. Можно понять, насколько все это было близко пытливому уму Петра I. Да и до беседы с Лейбницем его серьезно занимала идея разведывания морской дороги в Китай, установления прямых морских сношений с Индией. («Огродя отечество безопасностью от неприятеля, над-

лежит стараться находить славу государства через искусство и науки», — говорил он.)

Во исполнение этих замыслов Россия приступила к важным географическим исследованиям.

В декабре 1724 года русский морской офицер, по происхождению датчанин, Витус Беринг был назначен начальником Камчатской экспедиции. А еще через месяц он с группой сподвижников на 25 подводах отправился через всю Сибирь к берегам Охотского моря. Это был героический переход, длившийся много месяцев. Известно, что по дороге участники экспедиции «ели лошадиное мертвое мясо, сумы сыромятные и всякие сырые кожи, платья и обувь кожаные».

Немало трудностей и лишений пришлось испытать и при постройке кораблей, на которых предполагалось искать берега Америки. Рассказ об этом был бы очень пространным.

Спустя много лет, в 1733 году, была организована Вторая Камчатская экспедиция, так как Первая получила только косвенные, но не прямые доказательства существования пролива¹, отделяющего Азию от Америки. Самой Америки мореплаватели не увидели, т. к. поспешили прежде времени возвратиться в Петербург. Тогда как, по мнению лейтенанта флота Чирикова,

¹ В сущности этот пролив был открыт еще в 1648 году, когда по нему прошли на кочах Федот Алексеев Попов и Семен Дежнев. Но сведения об этом плавании («отписки» Дежнева) застряли в якутском архиве, где пролежали в неизвестности без малого сто лет. Однако мореходы не знали, что прошли проливом, так как американского берега из-за ненастной погоды они тоже не видели. Поэтому ныне считают, что первыми, кто действительно открыл летом 1732 года пролив, впоследствии названный именем Беринга, были подштурман Иван Федоров и геодезист Михаил Гвоздев: они не только видели противоположащие берега Азии и Америки, но и нанесли их на карту.

следовало обогнуть Чукотку до устья Колымы, либо идти к северу по проливу до конца и, лишь убедившись, что суда находятся в Ледовитом океане и пролив действительно существует, повернуть назад. И то не прежде, чем будут определены ширина пролива и примерное расстояние, отделяющее Азию от Америки.

Беринг возвращался на Камчатку прежним путем, не усложняя себе задачи, за что его позже упрекал Ломоносов — мог-де взять восточней, «которым ходом», наверное, приметил бы берега северо-западной Америки.

Обстоятельства, однако, сложились так, что руководителем Второй экспедиции, преследующей прежнюю и ряд других целей, вновь был назначен Беринг. Именно он вел пакетбот «Святой Петр». Чириков командовал пакетботом «Святой Павел».

Позднейшие исследователи неоднократно указывали на то, что беды Второй Камчатской экспедиции во многом были предопределены «злоумышленной» картой французского ученого Жозефа Николя Делиля, состоявшего на службе в Российской академии наук. По этой карте экспедиции следовало искать некую мифическую землю Хуана де Гамы.

На это ссылался впоследствии и Свен Ваксель, штурман «Св. Петра». «Карта Делиля,— писал Ваксель,— была неверной и лживой, ибо в противном случае мы должны были перескочить через землю Хуана де Гамы...

...кровь закипает во мне всякий раз, когда я вспоминаю о бессовестном обмане, в который мы были введены этой неверной картой, в результате чего рисковали жизнью и добрым именем. По вине этой карты почти половина нашей команды погибла напрасной смертью».

Хотя известно, что Жозеф Делиль действительно передавал Франции кое-какие сведения, получаемые им в Академии, в том числе секретные карты, карта, по которой предстояло идти в плавание кораблям экспедиции, едва ли была составлена намеренно ложной.

Множество иных карт XVII—XVIII веков точно так же страдали известной недостоверностью, а то и явным вымыслом. Земля Хуана де Гамы в те времена значилась на картах Гомана 1712 года, Гийома Делиля 1714 года и карте Российской империи Кирилова 1734 года. Еще ранее эту вымышленную землю нанес на свою карту к востоку от Японии португальский географ Тексейра. Так что Жозеф Делиль только позаимствовал злополучную землю Хуана де Гамы для своей карты, нисколько не погрешив против тех представлений, которые бытовали среди географов его поры.

Сам Жозеф Делиль не был участником экспедиции, но рекомендовал сводного брата «астронома» Людвига Делиля де ла Кройера.

Де ла Кройеру, человеку авантюрных наклонностей и бездарному, были даны важные полномочия следующей фразой указа сената: «...чтоб в вояж сперва шли по предложению и мнению профессора Делиля». Против «предложения и мнения профессора Делиля» выступил только один человек — помощник начальника экспедиции Алексей Чириков¹. Сам Беринг на себя такой смелости не взял.

Вот так и получилось, что русские суда, вместо того, чтобы без проволок идти к берегам Америки, пошли

¹ Чириков — один из тех участников экспедиции, которым были наиболее понятны и близки ее научные цели, историческое значение для судеб России в бассейне Тихого океана. Он был хорошо образован. Несмотря на молодость, зарекомендовал себя превосходным моряком.

искать землю Хуана де Гамы, которой, конечно, не нашли. Между тем драгоценное время было упущено. Вскоре корабли, ведомые Берингом и Чириковым, попали в непроницаемый туман и потеряли друг друга из виду. Отныне им суждено было достичь берегов Америки в разное время (Чириков достиг раньше) и в разных местах. Пакетбот «Святой Павел» все-таки возвратился к родной Камчатке, а судно Беринга претерпело тяжелые бедствия. Появились больные цингой, заболел и сам Беринг. Ураганные ветры истрепали парусное вооружение, расшатали крепления пакетбота.

Свен Ваксель писал: «Мы должны были плыть в неизведанном, никем не описанном океане, точно слепые... Не знаю, существует ли на свете более безотрадное или более тяжелое состояние, чем плавание в неописанных водах. Говорю по собственному опыту и могу утверждать, что в течение пяти месяцев этого плавания... мне едва ли выдалось несколько часов непрерывного спокойного сна; я всегда находился в беспокойстве, в ожидании опасностей и бедствий».

А цинга свирепо косила людей. Некому было производить корабельные работы: «...корабль плыл как кусок мертвого дерева, почти без всякого управления и шел по воле волн и ветра, куда им только вздумалось его погнать».

4 ноября 1741 года на горизонте показалась безлесная земля, которая была принята за Камчатку. Впрочем, сам Беринг как раз не был в этом уверен. Но выхода не было, и после того как по счастливой случайности пакетбот легко перенесло через буруны в мелкую бухту, капитан-командор дал распоряжение высаживаться.

Больные матросы умирали, когда их выносили на палубу, умирали в шлюпках. Цинга преследовала людей и на земле. К болезням прибавились еще и зимние

холода: моряки обносились, их одежда превратилась в лохмотья...

Беринг умер на острове 8 декабря 1741 года.

На могиле Беринга я был еще в самый первый сюда приезд в 1959 году. Начальник районной милиции майор Артюхов дал мне свою упряжку собак, а за каюра отпустил сына Валю... У меня появилась возможность совершить поездку летом на собаках, а о таком диве я даже в книгах прежде не читал. Здесь этот транспорт пользовался в летнее время постоянным спросом, как наиболее легкий, быстроходный, маневренный. Вездеходами остров тогда еще не располагал. (Зато в семь-восемь последующих лет Командорский зверокомбинат начал воистину бурно оснащаться техникой. Он получил 9 тракторов, 11 автомашин, автогрейдер, 5 электростанций мощностью на 710 киловатт, 12 радиостанций, катер, два морских рыболовных сейнера, две самоходные баржи. Появились в селе и вездеходы — для тундры машина в самый раз.)

Итак, дождливым деньком короткую, полутораметровую нарту, подбитую железом, мы загрузили рюкзаками, мешком с прелыми охотничьими сосисками (для собак) и бодро двинулись в путь. Собаки были крепки и сыты. По траве, слегка влажной от мороси, нарты скользили споро. На кочках нас то и дело встряхивало, из-под нарты веерами разлеталась дурно пахнущая гниlostная жижа тундры, а в мешке, сидя на котором я до одури нагарцевался, вскоре стало попискивать и сочиться из сосисок сало. Со свистом проскочили по мелкой воде вдоль озера Саранного — и вот уж с перевальных сопok открылась ершистая безбрежность моря Беринга.

Сколько мореплавателей бороздили эти воды! Командорские берега описывали Сарычев, Кук, Васильев, Головин, Литке, Коцебу, были здесь Креницын и Левашев. Был норвежский полярный исследователь Норденшельд. Он посетил остров Беринга летом 1879 года, впервые в истории освоения Севера пройдя весь Ледовитый океан от самых берегов Скандинавии. Многие знаменитые путешественники высаживались на командорскую землю. Сознание этого как-то непривычно бережит душу.

На второй день пути показалась прославленная бухта Командор. Пустынный берег. Белая оторочка наката. Крест на склоне горы, сваренный из железных труб. Пейзаж долины мрачноватый.

Да, не очень-то весело было здесь людям Беринга, которые жили в песчаных ямах, утепленных шкурами и прикрытых сверху лоскутами парусов. Натуралист экспедиции Георг Стеллер метко назвал эти ямы «могилками».

Почему этот скудный клочок земли так меня волнует? Да, наверное, потому, что и его коснулась своим крылом История. Правда, она не накаляла здесь страстей, не поднимала восстаний, не готовила втихую дьявольски хитроумных заговоров против венценосных особ, на худой конец, не устраивала морских сражений... Может быть, так даже проще для меня. Ибо между мной и Берингом, и Вакселем, и пытливым натуралистом Стеллером, и мужественным офицером Дмитрием Овцыным именно на этом клочке островной земли не стояло теперь и не заслоняло их ничто — ни прочие знаменитости, ни громкие события. Мне почему-то чудилось, что все происшедшее со Второй Камчатской экспедицией было на моей памяти, в пору моей жизни. А когда по подсказке Вали Артюхова я стал рассеянно

искать в песке бусы (на гребнях оплывших ям) и против ожидания нашел несколько тусклых бисеринок, в руках моих оказалась как бы нить, и впрямь связующая меня с драматической эпопеей стародавних лет.

Неужели эти разноцветные корявые бисеринки — подлинное имущество пакетбота «Святой Петр», меновой товар на случай общения команды с туземцами?.. Сомневаться не приходилось. Теперь горсть этого бисера — свыше ста штук — лежала на моей ладони. Если нанизать на нитку — какой памятный сувенир!

До нас в бухте Командор перебивало множество народу — и с целью, и без цели. Усиленно растаскивали имущество экспедиции еще первые промышленники-зверобой. Видно, тут было чем поживиться поселенцам, было что использовать в их скудном островном хозяйстве. Сюда наведывались люди, так или иначе приглядывавшие за могилой Беринга, пытавшиеся производить научные и ненаучные раскопки. Собственно, сам след этой могилы мало-помалу стерся. Незадолго до Великой Отечественной войны ее поисками занялся учитель-краевед Илья Федорович Махоркин. Ему и его товарищам удалось приблизительно установить место погребения мореплавателя и вновь поставить здесь крест с мемориальной дощечкой. Военные моряки в 1944 году привезли сюда наконец металлический крест.

Попутно всех, кто приходил в эту бухту, в том числе и меня, интересовали пушки пакетбота «Святой Петр». Иногда, раз в много лет, после затяжных штормов и в дни наибольших отливов из песка выступают жалкие останки пакетбота, разрушенного морем. Кое-где неплохо сохранилась древесина, — ведь в этих краях гнилостным бактериям не разгуляться. Что касается пушек, то с ними достаточно путаницы, и почти невоз-

можно, например, установить точно, сколько же их извлечено на свет божий. Их будто бы видели в 1933 году («На лаиде лежали штабеля (?) из чугунных (?) пушек»). В 1936 году их посчастливилось сфотографировать одной московской фотокорреспондентке. И. Ф. Махоркин с товарищами тоже гладил их шершавые стволы. В 1944 году две пушки были извлечены из песка. И уже после войны частенько навещался в эти края известный нам по рыбалке на озере Саранном Апполинарий Бадаев. В то время он ездил по ухожам в должности зоотехника и принимал у охотников песцовые шкурки.

Словом, возникли вновь из пучины эти черно зияющие пушки. Бадаев и его спутники ринулись к ним не разбирая дороги и через силу вытащили две на берег. Над остальными вновь таинственно сомкнулось море! Вот уже двадцать с лишним лет никто ничего не находит. Приезжают историки, археологи, ходят здесь куда как часто, копают, шупают дно, водят миноискателями — ан пушек нет. Как будто их и не было никогда.

Одна из пушек, тех, что, видимо, были найдены Бадаевым, установлена в Петропавловске-Камчатском на постаменте рядом с памятником Витусу Берингу, и две переданы в дар правительству Дании, на родину командора.

Вот свидетельство писателя Александра Крона, присутствовавшего при церемонии передачи командорских пушек датчанам: «Мы... откровенно говоря, не предвидели того праздничного одушевления, которое вызвал наш дружеский акт. Несколько городов оспаривали право установить у себя старинные пушки с полустершимися надписями на стволах. Редкий случай, когда пушки способствовали дружбе и взаимопониманию между двумя народами».

Лондонский Тауэр заплатил недавно за какую-то «безродную» бронзовую пушчонку, поднятую со дна моря, сто фунтов стерлингов. Надо ли говорить, что пушкам пакетбота «Св. Петр», вошедшего в историю больших географических открытий, вообще нет цены? Безусловно, остальные пушки надо найти.

В разное время тут находили и не столь примечательные вещи, принадлежавшие экспедиции Беринга: чугунные ядра, замки кремневых ружей, топоры, ножи, медные пуговицы, предметы такелажа парусного судна и... конечно, бусы. Бусы почему-то особенно волнуют всех здешних кладоискателей. О бусах пишет в фундаментальном труде «Командорские острова и пушной промысел на них» профессор Е. К. Суворов — он их тоже собирал. Бусы и бисер упоминаются мной в повести «Перламутровая раковина» (ну, как обойти такую яркую подробность!) и в повести А. Борщаговского «Остров всех надежд». Впрочем, этот образ столь много значил для Борщаговского, что одну из последних своих повестей он назвал уже без обиняков: «Стеклянные бусы».

Теперь о самом Витусе Беринге.

Здесь уже говорилось, что родина его — Дания. У себя дома он ничем особенным не выделялся, не было у него ни титулов, ни богатства, хотя и принадлежал он, по-видимому, к семье более-менее обеспеченной. Его дядя, известный поэт, профессор, преподавал в Копенгагенском университете. Беринг был молод, рамки семьи его стесняли, а к торговле либо ремеслу не влекло. Манили путешествия, неизведанные страны. И в те годы он действительно осуществил плавание в качестве матроса в Индию.

Этого оказалось достаточно, чтобы его приняли на службу в русский флот в чине мичмана. Русский флот тогда только еще развивался. Ему, говоря современным языком, нужны были кадры. Но если Петр и брал на службу иностранцев, каждому воздавал он впоследствии по его заслугам.

Беринг был аккуратным службистом. Командовал разными кораблями, и гражданского, и военного назначения. В общей сложности, принимая во внимание неудачный прутский поход Петра, после которого пришлось отдать обратно туркам Азов, и войну со шведами на Балтике, Беринг провел в сражениях с противником и на дозорной службе семнадцать лет. В конце войны он командовал девяностопушечным фрегатом. Однако ни разу не был отмечен наградами и поощрениями. И за это время не так уж значительно вырос в чине — стал капитаном II ранга. Словом, он обиделся и решил заявить своего рода протест — подал в отставку. Отставку охотно приняли, на что, видимо, Беринг никак не рассчитывал. Перед ним встал во всей своей неприкрытой реальности призрак необеспеченной жизни. Доходов у него никаких не было, а семья разрослась. Да и что ему было делать в сорок лет в отставке?

Тогда он решил вернуться на родину и стал добиваться получения заграничного паспорта. Опять-таки ему показалось, что его начнут удерживать, что в нем будут нуждаться. Но и тут он просчитался — его не удерживали, он мог ехать куда заблагорассудится. Но Дания ему была не нужна! В России прошли почти все сознательные годы его жизни. Для Дании он стал чужаком.

И он пошел на попятный, заваливая адмиралтейств-коллегию прошениями о какой угодно должности во флоте.

В том же чине, но с понижением в должности (ему предложили командовать меньшим, чем прежде, кораблем) Беринг был восстановлен на русской службе. И все же именно этому человеку Петр Первый поручил командование экспедицией столь огромного для России значения. Здесь сыграло роль знакомство Беринга с влиятельными иностранцами: его давно знал вице-адмирал Крюйс, датчанин вице-адмирал Сиверс вместе с ним поступал на русскую службу, они были друзьями, а с контр-адмиралом Сандерсом он даже состоял в родстве. Да и сам Петр, по-видимому, относился к нему, в общем, благожелательно. Немаловажным оказалось и то, что Беринг «в Ост-Индии был и обхождение знает».

Новой должностью, прославившей его имя в веках, этот человек подчас тяготился. Хотя он и сказал однажды историку Герарду Миллеру, что участвовать в экспедиции пожелал добровольно. Надо думать — не в качестве ее главы. Известны письма Беринга в разные инстанции, к более или менее влиятельным людям и прежде всего в сенат с просьбами освободить его от руководства экспедицией.

Довольно странно выглядит поспешный отъезд Беринга в Петербург после незавершенной Первой Камчатской экспедиции. Надо отметить, что подавляющее большинство исследователей деятельности экспедиции как раз не оправдывает Беринга, да и нет такой необходимости. Между тем из некоторых книг, написанных, правда, беллетристами, можно вынести убеждение, что Беринг ни в чем не виноват, что он — игрушка обстоятельств, что любой другой на его месте безусловно сделал бы меньше. При этом ссылаются скорее на его опыт сухопутного организатора и интенданта, чем на сколько-нибудь примечательные качества мореплавателя¹.

Далее приводят в защиту Беринга несерьезный аргумент, будто он-де вынужден был, бросив экспедицию, уехать в Петербург, потому что у него там осталась семья (не у него одного, кстати сказать) и он беспокоился о ней. Беспокоился о своем будущем, так как Петр умер, и к власти пришли люди в большей или меньшей степени враждебные ему, его начинаниям, а он-де, Беринг, при всем том был и остался ставленником именно Петра. Таким его помнят, таким его знают.

Но Беринг никогда не ходил в фаворитах могущественного монарха! Безусловно, он был мореходом по призванию. Тем досаднее ловить себя на мысли, что иногда ему изменяло чувство профессиональной гордости. Одержимость идеей? Мы уже видели, что в один из важных моментов истории русских первооткрытий он был одержим мыслью бросить все и скорее возвратиться в Петербург, к семье, к определенности и уюту тихого личного бытия, прежде чем были достигнуты берега Америки и выполнены задачи экспедиции. Причем его не смутило, что в дело столь громоздкой экспедиции Петром был вложен огромный капитал, который не принес пока никакой прибыли, что ради осуществления петровского наказа погибли многие люди. Наконец, он вынужден был снова идти к берегам Большой земли (Америки) и выполнил свою задачу лишь формально.

У Беринга есть и привлекательные черты: мягкость характера, простота в обращении, достаточно душевно-

¹ Однако, по мнению современных историков, как раз плохая подготовка Второй Камчатской экспедиции привела ко многим ее бедам.

сти для того, чтобы вникнуть в чужую беду, помочь нуждающемуся; наконец умение прислушиваться к мнению других. Но, прислушиваясь к мнению других, склонный к различным опасениям и перестраховке, он подчас принимал решения не лучшие из тех, какие можно было принять.

Трудно, впрочем, сейчас судить, ошибся Петр или не ошибся. Очень вероятно, что у него попросту был ограниченный выбор.

В то время Алексей Чириков был молод и малоопытен. Он вполне успешно мог руководить Второй Камчатской экспедицией, но ее деятельность осуществлялась по заведенному еще Петром порядку. Никто ничего не менял, и тем более не было никаких должностных перемещений. Известно, что еще в апреле 1740 года Чириков хотел самостоятельно проведать американские берега, осмотреть земли «от Камчатки меж норда и оста, против Чукоцкого носа и протчия западной стороны Америки». Но Беринг не дал Чирикову корабля, сославшись на инструкцию, в силу которой ему, капитану-командору, предписано было искать Землю де Гамы!

Итоги Второй Камчатской экспедиции дали Ломоносову полное основание заявить впоследствии, что Чириков в открытии Русской Америки «был главным».

Вот как аттестует Чирикова-мореплавателя русский историограф А. П. Соколов: «Итак, открыв Американский берег, полутора сутками ранее Беринга, в долготе одиннадцати градусами далее; осмотрев его на протяжении трех градусов к северу и оставя пятью днями позже; Чириков возвратился в Камчатку — восемь градусов западнее Берингова пристанища — целым месяцем ранее; сделав те же на пути открытия Алеутских

островов; во все это время не убирая парусов и ни разу не наливаясь водой; тоже претерпевая бури, лишения, болезни и смертность, более, впрочем, павшую у него на офицеров, чем на низших чинов. Превосходство во всех отношениях разительное! По времени истинное торжество морского искусства!»

Разговор о Беринге так или иначе будет продолжен в главе о жизни и судьбах его сподвижников Стеллера, Вакселя и Овцына.

Открытие Командорских островов повлекло за собой необычайное оживление в этой части земного шара. К землям, богатым пушниной, в первую очередь морскими бобрами, ринулись зверопромышленники, торговые людишки, досужие, не чуждые стяжательской жилки, мореходы, авантюристы. Началась великая эра освоения бесконечно протяженных земель Русской Америки, вплоть до известной колонии Росс в Калифорнии (неподалеку от нынешнего Сан-Франциско). При взгляде на карту это трудно сейчас постичь умом. Толчок этому великому походу русских сметливых людей был дан экспедициями Беринга, а трамплином и базой служили на первых порах Камчатка и Командоры.

Прослышав о привезенной потерпевшими крушение богатой бобровой «рухляди», отправился на Командоры сержант ниже-камчатской команды Емельян Басов. Это был мореход отважный и предприимчивый. Еще в 1726 году он плавал со спутниками по Лене к Ледовитому океану с целью проведывания морского пути на Камчатку, однако потерпел неудачу. Впоследствии он успел побывать в Москве, где заручился бумагой на поиски «неизвестных островов». И хотя у него не было своего судна, он сумел все же побывать на Курилах. Тем не менее денег эта предпринимательская

деятельность Басову не принесла. Хорошо, что нижнекамчатский корабельный мастер построил ему и его компаньонам корабль-шитик в долг. Вот на этом-то малом суденышке и выбросило Басова с компаньонами на неприветливый берег острова Беринга (правда, шитик особенно не пострадал). Здесь Басов провел зиму и, вероятно, добыча его дала немалую прибыль, потому что в 1745 году он возвращается сюда. 1600 морских бобров, 2000 голубых песцов да столько же шкур в то время не очень еще ценившегося морского котика — вот добыча очередного плавания. Заработки компаньонов превосходили их ожидания. Емельян Басов наведывался на Командоры еще дважды: в 1747 и в 1749 годах.

Сохранился его рапорт в канцелярию охотского порта: «По вступлении моем с казаками в вояж, в прошлом 1747 г., для прииску неведомых островов, на судне Петре шитике, на своем собственном коште... прибыли на прежде обысканный второй малый остров в августе (имеется в виду Медный; таким образом, впервые высадившись на нем, Емельян Басов завершил открытие Командорских островов.— Л. П.)... на лайдах собрано самородной меди 50 фунт. На том же острове в полунощной стороне нашли незнаемую вещь, руда ли она или какая незнаемая вещь, которой взято и привезено фунта с два. Да найдено служителями на берегу 205 камешков, больших и малых, в том числе два желтых, один малиновый. Да еще найдена новокурьезная рыбка... Вывезено нами в Нижний Камчатский острог: бобров, кошлаков и маток 970, хвостов бобровых тож число, песцов голубых 1520. И оные звери разделили обще всем по паям, кто со мной в вышеупомянутом вояже был...

Сержант Емельян Басов».

Примерно в те же годы зимовали на островах то Андреян Толстых, то Андрей Всевидов, то известный землепроходец, личность воистину легендарная, Никита Шалауров. Первые промышленники, как уже было сказано, расхищали небогатое имущество экспедиции Беринга, так что наконец было запрещено приставать к этому берегу. Однако зверобойный промысел продолжал развиваться, и запрещение было забыто. Горечь кораблекрушения изведal в те годы казак Воробьев. Но, разбившись то ли у Арьега Камня, то ли у Топоркова острова, он построил из обломков небольшое суденышко и возвратился на Камчатку с двумя тысячами морских бобров. Крепко не повезло зверопромышленнику Дружинину. Он разбился на Беринге, построил из обломков новое судно, отправился на разведку других островов и опять-таки, возвращаясь, потерпел крушение именно у злополучной командорской земли.

Однако наиболее удачными, в полном смысле триумфальными были плавания «для приискания новых земель», богатых, как тогда говорили, мягкой рухлядью (мехами), штурмана Гавриила Прибылова (открывшего принадлежащие ныне США острова его имени) и рыльского купца Григория Шелихова. Достаточно сказать, что в 1786 году Шелихов привез с Командора до 18 тысяч котиков! Так было положено начало его богатству, и так началась его слава. Именно Григорий Шелихов положил впоследствии немало сил для создания Российско-Американской компании по эксплуатации пушных промыслов на вновь открытых землях.

С образцами ее деятельности, в основном прогрессивной, но принимавшей подчас хищнические формы, мы познакомимся в одной из последующих глав.

ЛЮДИ
ВЕЛИКОГО ДОЛГА



Натуралист и медик экспедиции Георг Стеллер родился в 1709 году в Германии, в Виндсгейме. Внешне он удался не очень привлекательным, зато вырос крепким и здоровым.

Был он с малых лет и до самой смерти любознательным, пытливым, жажда знаний в нем прямо-таки бурлила, зато уж вздорному его характеру, склонности к скандалам никто бы не позавидовал. Впрочем, его задиристость и неуступчивость приводили подчас к поступкам, которые спустя два века мы склонны рассматривать, как выдающиеся.

По всему судя, он должен был стать священником, но в университете увлекся естественными науками — зоологией, ботаникой, медициной. Вообще-то он учился в нескольких университетах и в 1734 году, успешно сдав экзамены по ботанике, получил право занять кафедру в берлинском университете (впрочем, свободной кафедры не оказалось).

И он решил ехать в Россию. Именно там, в стране, при Петре уделявшей исключительное внимание наукам и разного рода нововведениям, мечтал он найти приложение своим способностям.

Нищий Стеллер с несколькими талерами в кармане отправляется в страну, которая помимо иных соображений манила его неизведанностью просторов, неисхоженностью дорог. Впрочем, вряд ли он даже подумать мог, что действительность превзойдет самые смелые

его мечты, что судьбой уготовано ему захватывающее и невообразимое по трудностям путешествие на край света, вплоть до самой тогда еще не открытой Северной Америки. Нет, так далеко его мечты не заходили. Тем более что пробраться в русские края даже из Германии в те времена было не просто. Брат Стеллера позже писал, что Георг, знающий медицину, устроился в Данциге на русский военный корабль с ранеными и больными и таким образом попал в Россию. Существуют и другие, впрочем, сходные, версии.

Так или иначе, но он оказался в Петербурге — городе каменных домов, выросших среди болот. Город только еще расправлял свои гранитные плечи, его архитектурный облик окончательно не прорисовался, роскошь дворцов была вопиюща на фоне рубищ, в которые одевался простой люд.

Академия наук, все члены которой в то время были немцы, рекомендовала Стеллера широкообразованному, не без уклона в изящную словесность, архиепископу Новгородскому Феофану Прокоповичу «для пользования больных его служителей». С просвещенным архиепископом Стеллер сошелся как нельзя лучше. Беседы они вели предпочтительно по-латыни, что тешило душу обоим. Феофан Прокопович даже посвятил своему врачу стихи, написанные на латыни.

Стеллер не терял времени даром и, кроме своих занятий ботаникой, собирания гербариев и описания растительности северо-западной части России (в тех ее пределах, какие он мог посетить) много и жадно читал. У Феофана Прокоповича была громадная библиотека, составленная из книг на разных языках. Частично посредством чтения, частично с помощью Феофана и членов его семьи, а также слуг Стеллер вскоре изучил русский язык. Теперь он уже свободней чувствовал

себя в этой стране, мог не только наблюдать, но и расспрашивать; знание русского языка, впрочем, дало ему возможность полнее проявить и вторую сторону своей натуры, а именно пристрастие к ссорам.

Наконец Стеллер попросил своего покровителя, чтобы тот рекомендовал его на какую-либо должность, лучше всего в Академию наук. Он готов был ехать и на Камчатку — даже стремился к этому, как только узнал, что снаряжается Вторая Камчатская экспедиция.

Его приняли на должность адъюнкта натуральной истории, с тем чтобы он участвовал в Камчатской экспедиции, и вскоре он с приданным ему «живописных дел мастером» Иваном Деккерном поскакал через всю Сибирь вдогонку за Берингом. Эта погоня длилась три с половиной года — очень долго, дольше, чем обычно преодолевалось это расстояние людьми с каким-либо должностным весом. Но ни имени, ни чиновного веса у Стеллера не было, властью он обладал весьма относительной, разве что мог добиться своего скандалом и силой.

Незадолго перед отъездом из Петербурга он женился на Бригитте Елене Блеклер, вдове Мессершмидта, известного тем, что он совершил первое ученое путешествие по Сибири. Вероятно, Стеллер надеялся, что в предстоящей трудной поездке жена будет сопровождать его как верная подруга и помогать в работе, но она посчитала лучшим для себя остаться в столице, тем более, что была еще молода, имела почитателей.

Зимой 1739 года Стеллер прибыл в Енисейск, где встретился с двумя другими участниками экспедиции, немцами историографом Герардом Миллером, положившим начало широкому описанию истории Сибири, и естествоиспытателем Иоганном Гмелином. Любопытны записки последнего, характеризующие Стеллера

с очень выгодной стороны (несмотря на то, что вскоре они поссорились: Стеллер не собирался подчиняться Гмелину по службе, хотя тот был профессор и занимал более высокое положение в Академии: «Я имел честь публично преподавать в Галле и Виттенберге, мои успехи в натуральной истории были испытаны и одобрены берлинским обществом. Ее императорского величества Академия наук милостиво приняла меня в таковой должности, и теперь не могу я понять, почему г. доктор Гмелин хочет меня превратить в подчиненного себе перед необразованными людьми...»)

Тем не менее Гмелин, в те годы известный ученый-натуралист, друг Лейбница, так характеризует своего младшего коллегу: «Мы остались при прежнем нашем решении предназначить г. Стеллера к тому, чтобы он, вместе с Крашенинниковым, о прибытии которого на Камчатку мы уже получили известие, привел к окончанию полное описание этой страны. Мы очень обрадовались, что этот даровитый человек, после краткого пребывания у нас, достаточно показал, что он был в силах совершить такое великое дело и добровольно сам предложил себя к выполнению его. Если бы мне пришлось предпринять это путешествие, то, должен откровенно сознаться в том, оно обошлось бы гораздо дороже ее величеству (имеется в виду императрица Анна.— Л. П.). Для моих занятий я бы взял с собою более людей, а для них потребовал бы более продовольствия и, следовательно, значительнейших издержек на переезд. Мы могли сколько нам угодно представлять Стеллеру о всех чрезвычайных невзгодах, ожидавших его в этом путешествии,— это ему служило только большим побуждением к тому трудному предприятию, к которому совершенное им до сих пор путешествие служило только как бы подготовкою. Он вовсе не был обременен

платьем. Если кто принужден возить с собою по Сибири хозяйство, то оно должно быть устроено в таких малых размерах, в каких только это возможно. У него был один сосуд для питья и пива, и меда, и водки. Вина ему вовсе не требовалось. Он имел одну посудину, из которой ел и в которой готовились все его кушанья; причем он не употреблял никакого повара. Он стряпал все сам, и это опять с такими малыми затеями, что суп, зелень и говядина клались разом в один и тот же горшок и таким образом варились. В рабочей комнате Стеллер очень легко мог переносить чад от стряпни. Ни парика, ни пудры он не употреблял, и всякой сапог и башмак были ему впору. При этом его нисколько не огорчали лишения в жизни; всегда он был в хорошем расположении, и чем более было вокруг него кутерьмы, тем веселее становился он. ...Вместе с тем мы заметили, что, несмотря на всю беспорядочность, выдаваемую им в его образе жизни, он, однако, при производстве наблюдений был чрезвычайно точен и неутомим во всех своих предприятиях; так что в этом отношении у нас не было ни малейшего беспокойства. Ему было нипочем проголодать целый день без еды и питья, когда он мог совершить что-нибудь на пользу науки...»

Несколько месяцев Стеллер жил в Иркутске, прилежно занимаясь ботаническими наблюдениями и описаниями. Отсюда он совершил поездку в Баргузинский острог все с той же целью научных изысканий, а потом в Селенгинск и на Кяхту, чтобы приобрести «китайской бумаги для вкладывания трав, которой бы достало до тех пор, как долго Камчатская экспедиция продлится».

В течение следующего 1740 года он преодолел где санным путем по Лене, где верхом на оленях, с одним только проводником, огромный перегон Иркутск—

Якутск—Охотск. Нигде он не задерживался, спеша попасть в Охотск до осени. Ему повезло, и в Охотске он сразу же сел на корабль с грузом на Камчатку.

Стеллер и Беринг не понравились друг другу — и стычки между ними впоследствии продолжались во все время плавания на пакетботе «Святой Петр». Стеллер сразу же пожаловался в сенат: «Во всем принят не так, как по моему характеру принять надлежало, но яко простой солдат и за подлого от него, Беринга, и от прочих трактован был, и ни к какому совету я им, Берингом, призыван не был».

Он жалуется не только на Беринга, но и на его окружение, состоящее из морских офицеров. Вероятно, при всей подозрительности Стеллера, это были небезосновательные жалобы. Морские офицеры не очень-то щадили самолюбие приставленных к ним для участия в плавании ученых. Известно, что так называемый астроном Людвиг де ла Кройер больше всех страдал от насмешек и унижений, причиняемых этими господами. Но Людвигу де ла Кройеру хотя бы по заслугам: он «отличился» в Сибири лихоимством, запрещенной торговлей мягкой рухлядью, да и вообще был законченный бездельник. Впрочем, были и другие причины, заставившие президента Академии наук Шумахера написать де ла Кройеру очень злое письмо: «Милостивый государь. Мне досадно входить в такое неприятное дело, которое вы себе навязали (речь идет о незаконной торговле.— Л. П.). Если бы вы заботились с большим усердием о ваших академических занятиях, то, может быть, теперь не имели бы неудовольствия быть в раздоре с людьми, которые в состоянии вам повредить. Берегитесь, милостивый государь, чтобы и Академия не начала бы против вас судебного преследования, потому что вы совсем пренебрегаете ею. Позволительно ли это не

писать в Академию в продолжении шести лет? Где ваши наблюдения? Поверьте, что сумеют заставить вас дать отчет в ваших работах. Впрочем, с особенным уважением остаюсь и пр.».

Письмо это характерно как пример того, что далеко не все служители Российской Академии наук, состоящей сплошь из иностранцев (еще до прихода в Академию М. В. Ломоносова), ревностно относились к исполнению служебных обязанностей. Не говоря уже о том, что хватало среди них и бездарностей (которые особенно были заметны в свете таких звезд первой величины, как великий математик Леонард Эйлер, служивший тогда русской науке). Письмо Шумахера не дошло по назначению: адресат, не перенеся тяжких условий плавания на пакетботе «Святой Павел», заболел цингой и умер как раз в день возвращения первооткрывателей в родную петропавловскую гавань. Он похоронен с почестями (которых, правда, был недостоин) в Петропавловске, и одно время могила его находилась рядом с могилой сподвижника Джемса Кука — капитана Кларка.

Не лучше де ла Кройера выглядел в Камчатской экспедиции академик по кафедре истории и древностей Иоганн Эбергардт Фишер. Этот отправился в Сибирь капитально, вместе с женой, с малолетними детьми. В науке его имя мало известно. А вот жестокостями и сумасбродством своим он в Сибири прославился. Был случай, в ряду многих других, не менее поразительных, когда Фишер на одном перегоне отказался ехать верхом на лошади, а вместо этого повелел сделать нечто вроде колыбели и в ней себя везти. «И приказал, — свидетельствует очевидец, — кроме проводников, из служивых по человеку по сторонам итить пешком и качку его со сторон держать, чтобы не качало; а трость свою

с костылем велел наперед себя нести таким образом, якобы как перед архиереем носят. А понеже как известно здесь всем, что оная дорога находится в великих грязях, не токмо чтоб качку держать, но насилу с великою нуждою и сами пешком пройти могут, и зато бьет палкою по чем ни попало, а выехавши из грязи, стегает и батожем немилостиво».

Бескорыстие в обиходной жизни и увлеченность наукой Георга Стеллера кажутся оттого еще более поразительными.

Итак, Стеллер, пока шла подготовка к плаванию, зазимовал на Камчатке. Любитель выпить (многие современники ставят это ему в вину), он, однако, не забывал дела. Дело у него было превыше всего. Он присматривался к быту камчадалов, расспрашивал у них о свойствах местных растений, постигал нехитрые приемы врачевания — то, что у нас принято сейчас называть народной медициной. Видеть неподалеку вулкан, хотя бы Авачинский, и не попытаться заглянуть в его громяхающий зловонный кратер — нет, это было не в правилах дотошного натуралиста. Этнография была ему столь же близка, сколь и ботаника, но тогда он еще не имел достаточно времени, чтобы заниматься ею.

В июне пакетботы «Св. Петр» и «Св. Павел», ведомые Берингом и Чириковым, вышли наконец из гавани. Удача, как мы знаем, не сопутствовала им с самого начала. Однако же через полтора месяца люди пакетбота «Св. Петр» наконец увидели землю — это была Америка. Возбуждение охватило всех, без различия чинов, один только Беринг не радовался. Пожалуй, он имел к этому некоторые основания: подступала зима, а у экспедиции не было в запасе провианта, корабль достаточно был потрепан штормами; да и как далеко плыть домой, никто не знал.

Беринг распорядился послать бот с корабельным мастером Софроном Хитровым «для сыскания гавани», на другом боте была снаряжена команда за водой. С этими людьми хотел сойти на берег и Стеллер. Однако Беринг сам не изъявил желания ступить на американскую землю и не разрешил этого натуралисту. Стеллера ужаснуло его решение. Он разругался с Берингом пуще прежнего, были сказаны жестокие, но справедливые слова, были приведены доводы, что нелепо и дико столько перенести, готовить такую экспедицию, наконец проплыть бушующим морем, ежедневно рискуя жизнью — и все того только ради, чтобы увидеть издали чужой берег и нанести его на карту. Как будто для того только пришли в Америку, возмущался Стеллер, чтобы набрать в ней воды и уйти обратно!

Беринг был бессмысленно непреклонен. Тогда Стеллер заявил, что поедет на берег один и ему не нужна никакая охрана. Он кликнул верного ему казака Фому Лепехина и стал готовить к спуску на воду небольшую шлюпку. Беринг наконец уступил, тем более, что просьбу натуралиста — редкий случай! — поддержали и офицеры.

И выглядело все это, по свидетельству Стеллера, довольно-таки нелепо: «...с великим негодованием и вредительскими словами меня с судна спустили... не učinя никакого вспоможения, с одним команды моей служивым, к великой беде и смерти подвергнул; но как жестокими поступками и страхом ничего сделать не мог, претворивши все в дружбу, приказал: как я на берег выеду, в трубы трубить, думая, что я того рассудить не могу и что бесчестие за знак чести приму».

Это, собственно, не была материковая земля, а всего лишь остров, но отсюда большой берег хорошо просматривался, четко вырисовывалась на нем снеговая

вершина, которой дали имя Св. Ильи (так называется она и поныне). Гора эта очень высока — одна из самых высоких в Северной Америке (5489 метров).

Шесть часов пробыл Стеллер на берегу густо заросшего лесом острова. За эти шесть часов он успел сделать неимоверно много — заметил и описал сто шестьдесят три вида растений, неизвестную ранее орнитологам птицу (Стеллерова хохлатая сойка), наткнулся на недавнюю стоянку индейцев (они, правда, успели убежать), потом, в лесу, еще на одну... Стеллеру и его спутнику попало в руки их нехитрое имущество вроде корыта с полувареным мясом, примитивного огнива, состоящего из дощечки и палочки к ней, связки веревок из морской травы, лукошки из коры, наполненные копченой рыбой, и т. д., вплоть до деревянных стрел с медными наконечниками. Это дало ему возможность впоследствии выдвинуть гипотезу о схожести, если не прямом родстве, туземцев острова Каяк (на который впервые высадились люди Беринга) с коренными жителями Камчатки.

Отослав Лепехина с частью находок к боту, Стеллер бесстрашно продолжал свое путешествие по незнакомой земле в полном одиночестве, рискуя наткнуться на туземцев. А встреча эта могла иметь самые неожиданные последствия.

За эти несколько часов Стеллер один сделал куда больше, чем иная экспедиция за много месяцев. Впоследствии Стеллером была написана работа, названная «Описание растений, собранных за шесть часов в Америке». Причем указал он эту подробность в названии — «за шесть часов» — не без издевки и горечи.

Не исключено, что где-то в глубине души Беринг мог уважать навязанного ему в относительное подчинение натуралиста. Он не мог не ценить его неистовую

работоспособность и одержимость. Как бы то ни было, когда Стеллер возвратился, капитан-командор приказал дать ему шоколада. Это было мерой поощрения.

На пакетботе началась цинга. По воле ветров он то и дело менял курс. Наткнулись на острова — здесь пал первой жертвой цинги матрос Никита Шумагин — и их называли Шумагинскими. Впоследствии, побывав на первом из них, Стеллер указал на то, что здесь можно нарвать щавеля, противоцинготных трав, их было в округе немало, как он по обыкновению успел приметить; однако господа офицеры отнеслись пренебрежительно к предложению натуралиста, — как тут не признать, что в этом непосредственно не касающемся морской практики случае они продемонстрировали полное невежество; а ведь употреблением в пищу зелени можно было предотвратить страшную болезнь, пробившую зияющую брешь в команде пакетбота!

Наконец на одном из островов повстречались с людьми. Они подъехали на своих байдарках, сделанных из костей, обтянутых тюленьими шкурами, и позвали моряков на берег. В проколах ноздрей у них торчали клыки морских зверей либо пучки травы.

В большую шляпку сели Стеллер (на сей раз никто ему возражать не посмел), Ваксель, переводчик и несколько вооруженных нижних чинов. Но пристать к берегу из-за сильного прибоя Ваксель не решился. Тогда он приказал двум казакам и переводчику чукче раздеться и идти туда вброд.

Однако же островитяне продолжали звать и остальных. Стеллер и Ваксель только руками разводили — не можем, мол... Наконец островитянин посмелей взял свою байдарку, поднял ее одной рукой, спустил на воду и решительно поплыл навстречу.

Вот тут-то намечавшуюся идиллию, сам того не ве-

дая, нарушил Ваксель: он поднес гостю чарку водки! Туземец хлебнул, закричал дурным голосом и переполошил на берегу всех своих сородичей.

«Чтобы загладить первое неприятное впечатление,— пишет Стеллер,— ему дали, вопреки моему совету, раскуренную трубку, которую он, правда, взял, но все же уплыл недовольный. Так поступил бы и самый умный европеец, если бы его угостили супом из мухоморов или ухой из тухлой рыбы с ивовой корой, что является для камчадала лакомством».

Тем из команды, кто оказался на берегу, пришлось уходить, опасаясь худшего. Чукчу туземцы не отпускали, приняв его по внешнему виду почти за своего, и для их острастки был дан залп из мушкетов. Грохот выстрелов произвел на них такое же воздействие, как на их беднягу-сородича глоток водки. Впрочем, нет: они не закричали. Они пали ниц. В одночасье алеутам была продемонстрирована злая сила таких далеко не лучших порождений цивилизации, как водка и огнестрельное оружие.

Возможно, и впрямь разумнее было бы остаться зимовать на американском берегу — были же там индейцы, и при умелом подходе к ним они поделились бы припасами, не дали бы умереть с голоду, тем более, что команда располагала оружием и, во всяком случае, обеспечила бы себя мясом.

Так или иначе, только благодаря исключительно счастливой случайности, пакетбот «Св. Петр» избежал катастрофического столкновения с рифами, окружавшими внезапно замаячившую на горизонте землю — будущий остров Беринга.

Стеллер и здесь, в очень бедственном положении, был неутомим в своих исследованиях. Он описал до 220 видов цветковых растений острова Беринга. Лю-

бопытно, что современные ботаники насчитывают здесь всего лишь 205 видов,— это подтверждает кропотливость изысканий и острую наблюдательность Стеллера.

(В 1966 году сюда приезжала Раиса Львовна Берг — дочь академика Берга, автора самого полного научно-популярного описания двух Камчатских экспедиций. Отцу не пришлось побывать на Командорах, зато дочь, ныне известный ботаник, доктор, мечтала об этом еще с юношеских лет. Раиса Львовна нашла несколько растений из тех, что были описаны здесь Стеллером, но в последующих каталогах не отмечались.)

Стеллер впервые описал морских котиков (хотя они были известны русским и до открытия островов).

Стеллер впервые описал сивучей, дав им название морских львов. Он проводил целые дни в наблюдениях за ними, и звери настолько к нему привыкли, что даже заглядывали в палатку.

По праву бесценным считается его описание знаменитой морской коровы (*Rhytina Stelleri*), давным-давно исчезнувшей. Характерна она тем, что обитала только в одной точке земного шара — именно на Командорских островах. И хотя это описание является наиболее полным и подробным, сам натуралист остался не вполне им доволен¹.

Он обратил внимание и на то, что морскую корову,

¹ «...виной тому была отчасти погода, которая, когда я начал наблюдения, была большей частью дождливая и холодная,— писал он,— отчасти же то, что я работал под открытым небом и не мог уйти от приливов и укрыться от огромных стай песцов, которые все разрывали и тащили из-под рук. Когда я рассматривал животных, они успевали украсть бумагу, книги, чернильницу, а пока я писал, они набрасывались на животное. Мешали также огромные размеры и большой вес животного. Я должен был быть и наблюдателем и рабочим. Остальные беспокоились только о постройке корабля и о спасении из этого места».

животное травоядное — питалась она водорослями, — пассивное, склонное держаться близко к берегу, можно приручить («От чрезвычайной глупости и жадности к еде это животное уже от природы ручное»).

Первые промышленники уничтожили морскую корову за каких-нибудь 28 лет — питательный жир, очень вкусное мясо и притом полная беззащитность громадного зверя! Стеллер пишет, что эти звери подходили к берегу очень близко и он мог даже иногда гладить их рукой по спине. Если же причинять им боль, то они всего лишь отплывают от берега немного дальше, «однако скоро это забывают и приближаются снова». Бывали случаи, когда корова, заснув, не успевала уходить вместе с начавшимся отливом и «обсыхала» на рифах, так что, если есть желание, подходи и коли. Что же, и кололи длинными такими пиками-«поколюгами». Тем более что по суше она передвигаться не могла. А то били дубинами и топорами...

Все эти описания я читаю сейчас с чувством душевной боли и недоумения. Разумеется, я понимаю, что мореходам крайне нужно было мясо. Однако существовали и помимо морской коровы звери — хотя бы сивучи, тюлени, наконец, скалы были усеяны птицами... нет, нет, — мореходам нужно было вкусное и нежное мясо да чтобы сразу навалом, чтобы лишний раз не утруждаться охотой. Да что с них возьмешь, темные необразованные люди, в биоценозах не разбирались. Но вот два века спустя некий ученый без дрожи душевной во всеуслышание заявляет — нет, мол, никакой трагедии для человечества в том, что исчезла морская корова или какая-нибудь зебра квагги. Мол, проживем. Трагедии может быть и нет, хотя трудно пока судить. Известно другое: все большая ориентация пищевой индустрии на океан, способный в будущем прокормить миллиарды

людей. А что, если бы морская корова смогла стать первым из морских млекопитающих домашним животным? Однако что гадать — ее уже нет.

Стеллеру повезло увидеть в море еще одно животное, которое он назвал морской обезьяной. Приблизительно он даже описал его, потому что диковинное животное довольно долго резвилось вокруг пакетбота. С тех пор никто его в море не встречал. По-видимому, оно все же существовало, раз его видели Стеллер и матросы пакетбота!

Стеллеру принадлежит гипотеза о родстве индейцев-тлинкитов с камчадалами;

Он в числе первых побывал на острове, с которого уже хорошо была видна Северная Америка; в числе первых высадился на остров, ныне входящий в группу Шумагинских, и общался с алеутами;

Наконец Стеллер был первый, кто вступил на командорскую землю.

Это главные вехи его деятельности во Второй Камчатской экспедиции, но экспедиция фактически продолжалась, и, возвратясь на Камчатку, Стеллер жадно занимается любимой ботаникой, да и не только ею. Дома он сидел редко. То охота, то собирание трав, то изучение камчатского животного мира, птиц и рыб отнимали все его время. Занесло его, между прочим, в мае 1743 года и на Курильские острова, — понадобилось более точно зарисовать морского бобра. Часто ездил по камчатским острогам, но еще чаще ходил пешком, присматриваясь к быту камчадалов и окружающей их природе.

Стеллер едва не погиб во время восхождения на один из вулканов. Чудом спасся он и в конце лета 1743 года, когда рискнул поехать на собаках к острову Карага, отстоящему от камчатского берега километрах

в тридцати. Нарта провалилась, и он добирался на сушу, прыгая со льдины на льдину.

Между тем, следуя логике своего характера, был он на Камчатке жителем далеко не мирным. И вскоре нажил себе врага, который стал косвенным виновником его смерти. То был мичман Хметевский — надо сказать, человек тоже не без заслуг, способный гидрограф того времени. Однажды в Большерецк были присланы под конвоем 17 камчадалов, обвиняемых в «бунте». Видимо, на месте не было другого начальства, чтобы провести расследование, и этим пришлось заниматься Стеллеру. Он пришел к выводу, что камчадалы ни в чем не повинны, и своей властью освободил их.

Вот тогда-то Хметевский и настроил на него кляузу в Петербург.

Наконец Стеллер решил, что пора приводить в порядок собранные коллекции, систематизировать наблюдения и добиваться публикации каталогов и научных трудов в столице. С этой целью он отправился на шхерботе «Елисавет» в Охотск с весьма обременительным грузом: у него было шестнадцать ящиков «с разными натуральными вещами». Это было в августе 1744 года. А летом 1745 года Стеллер достиг Иркутска, где его ждало распоряжение сената об аресте: на допросе он отвечал, что камчадалов действительно выпустил, все равно их некому было в Большерецке караулить и нечем кормить из-за плохого хода рыбы в том году. Притом же многие и вовсе были закрыты на замок напрасно, так как русскому правительству вреда не чинили.

Иркутская канцелярия нашла, что «виновности Стеллеровой не признается» (и он потихоньку поехал дальше), но послала о том донесение сенату лишь спустя месяц, если не позже. Гораздо раньше в сенат по-

ступило известие Сибирского приказа, что Стеллер, как ни в чем не бывало, проехал через Верхотурье. Летом 1746 года сенат распорядился выслать ему навстречу нарочного и везти обратно в Иркутск для производства следствия (которое уже было произведено). Огромные пространства России, обусловившие такую путаницу с почтой, сыграли роковую для Стеллера роль.

Лето 1746 года он провел в Пермском крае — занимался, как всегда, ботаническими исследованиями. Дом заводчика Демидова близ Соликамска гостеприимно раскрыл перед ним двери — здесь в саду, заботливо ухоженном, Стеллер присматривал и за своими растениями, высаженными в почву.

Там и настиг его нарочный сената. Что было делать? Пришлось возвращаться в Иркутск.

18 августа он написал последнее свое письмо в Академию наук. В нем каждая строчка дышит горечью и опасениями за судьбу всего, что им собрано и касается «до пользы наук».

«...Я больше 2000 верст сего лета переездил на своем коште для исследования в надежде, что оное милостиво примет императорская Академия, а теперь еду в одном кафтане всего с шестидесятью рублями в Иркутск в такое время, когда я за три дня как приехал домой измученный и усталый и хотел приводить в порядок собранные мною предметы и свои мысли.

...Определенный ко мне в дороге пристав не позволяет мне... пространного рапорта послать; но я сей возвратный путь в Сибирь намерен в пользу употребить и подлинно еще много в Сибири забыл, что на сем пути паки исправить могу».

До Иркутска Стеллер все же не доехал: его настиг еще один курьер — на этот раз с указом об освобождении из-под стражи. Но, пожалуй, было уже поздно:

могучее здоровье Стеллера резко сдало, к тому же он заболел «горячкой» — и 12 ноября 1746 года скончался в Тюмени.

В одной из книг мне повстречалось странное, едва ли нужное противопоставление Беринга Стеллеру, как человека долга, человека государственного, понимавшего «значение своей деятельности для русского государства», — безродному авантюристу, готовому «служить любой стране и любой власти»; только-де «искренняя и самоотверженная преданность науке скрашивала его абсолютную беспринципность». Стеллер едва ли был представителем безродных авантюристов, готовых служить кому попало. Известно, что он верою и правдой служил русской науке, причем, как видно из приведенных здесь свидетельств очевидцев и его личных писем, не преследуя никакой решительно корысти.

Ему небезразличны были судьбы России, он с пониманием и сочувствием относился к нуждам коренных жителей ее окраин. Доказательств тому сколько угодно. Не он ли послал еще в апреле 1741 года в сенат «покорнейшее доношение» о беззакониях и насилиях, чинимых местными правителями над камчатским населением?¹ Не он ли предлагал меры для искоренения этих беззаконий, пусть на наш взгляд и наивные? Не он ли на свой страх и риск выпустил из-под стражи бедных камчадалов? Не он ли наконец обращался в синод с предложением об устройстве школ на Камчатке? Но не синод открыл первую на Камчатке школу в Большерецке, — нет, это сделал именно Стеллер, причем пол-

¹ «А никто никогда не повредил так Камчатку, как жители города Якуцка, в прикащики или в ясашные сборщики присылавные», они-де «ничего иного не делают, разве чтоб собрать им в 2 года столько, сколько б им и их детям на несколько лет довольно было».

ностью содержал ее на свои небогатые средства! «Обучать казачьих и иноземческих детей русской грамоте» он пригласил некого Гуляева, отбывавшего здесь ссылку, но, вероятно, преподавал в этой школе и сам.

Ну никак не вяжутся все эти поступки Стеллера с тем, что мы обычно понимаем под абсолютной беспринципностью!

А. С. Берг тоже склонен иной раз упрекнуть Стеллера, который, по его мнению, «был первоклассным натуралистом, но совершенно аморальным человеком». И сплошь все крайности какие-то: «абсолютно беспринципный», «совершенно аморальный»... Зверей-де мучил. Что греха таить, мучил. Не ради забавы, а наблюдая при этом за их поведением, ведя записи в тетрадке. Вот эти-то записи и дали повод позднейшим моралистам нет-нет да и бросить на него тень. Упуская из виду, что времечко было — середина XVIII века! Тогда никому и в голову не приходило дискутировать на тему о том, допустимо ли с точки зрения нравственности и морали ставить опыты над кроликами. А сейчас дискутируют. Этим признается сам факт, что подопытных зверюшек мучают и поныне.

Возвращаясь к Стеллеру, отметим объективности ради, что он все же не скупился на ласку для зверей — все зависело от обстоятельств. В путешествии из Иркутска в Баргузинские горы, например, следом за ним бежал его питомец — молодой ручной олень.

О жизни Стеллера мы знаем далеко не все. Тем досадней, что некоторые его произведения до сих пор не переведены на русский язык. В 1936 году издана большая биография Стеллера, принадлежащая перу профессора Стейнегера (тоже не переведенная). Она представляет интерес тем более, что Стейнегер сам работал на Командорах и в полной мере проникся духом их пер-

вооткрывателей. Им, в частности, впервые описаны киты — командорский ремнезуб и берардиус, много сил отдано изучению биологии морских котиков. Он приезжал на Командоры неоднократно на протяжении сорока лет (последний раз — летом 1922 года). Тогда как самая высокая вершина острова Беринга названа Стеллеровой, самая высокая вершина острова Медного носит имя Стейнегера. Об этом последнем можно сказать, что он продолжал дело своего знаменитого предшественника на островах тоже «с крайним разумением».

Ваксель, выходец из Швеции, поступил на русскую службу в 1726 году. Во Вторую Камчатскую экспедицию он был зачислен по собственному желанию, в звании лейтенанта флота. Беринг взял его на пакетбот «Св. Петр» старшим офицером и, как показали дальнейшие события, в своем выборе не ошибся. Возвращаясь от берегов Америки, Ваксель фактически один командовал пакетботом, так как заболевший цингой капитан-командор почти не выходил из каюты. Вакселя отличали как решительность характера, так и безусловная продуманность всех его поступков. Он умел ладить с подчиненными и пользовался среди них авторитетом. Не ладил он только со Стеллером, но нам уже известно, что Стеллер со многими был в ссоре.

В Петербург Свен Ваксель смог возвратиться только в 1749 году, то есть он единственный находился во Второй Камчатской экспедиции с самого начала и до конца.

Впоследствии повышался в званиях и командовал разными кораблями.

Лет пятнадцать после того, как завершилась деятельность экспедиции, Ваксель, основываясь частью на лич-

ных впечатлениях, а частью на записях в судовом журнале его товарища, корабельных дел мастера Софрона Хитрова, написал книгу о плавании к берегам Америки. Именно она, да еще книга Стеллера «Из Камчатки в Америку» являются свидетельствами очевидцев и участников плавания и потому имеют научное значение, которое трудно переоценить. Правда, в силу того, что Ваксель писал свою книгу как бы уже с некоторого расстояния, он кое-что в ней пересмотрел соответственно тем воззрениям, какие установились в науке на Вторую Камчатскую экспедицию в более позднее время, а кое-что, в личных интересах, приукрасил. Несмотря на это, книга является важным документом.

Интересна и ее судьба. В свое время она не издавалась, хотя и была известна в какой-то мере современникам в рукописи. Сведениями из нее воспользовался историограф Миллер в своем «Описании морских путешествий по Ледовитому и Восточному морю с российской стороны учиненных». Потом она затерялась то ли в архивах, то ли на полках частных библиотек. Неожиданно о ней сообщил ученый хранитель Зоологического музея при Академии наук некто Е. Бюхнер в статье о морской корове. Рукопись была им обнаружена в царскосельском отделении личной библиотеки царя... В годы революции ее считали утерянной, но в 1922 году рукописью пользовался, работая над книгой об открытии Камчатки и экспедициях Беринга, Л. С. Берг. Скорей всего, он брал ее у какого-нибудь частного лица. И только в 1938 году в газетах появилось сообщение о том, что эта рукопись продается в одном из букинистических магазинов. Вскоре она стала достоянием публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. В 1940 году этот труд Вакселя нако-

нец-то увидел свет и с тех пор не переиздавался¹.

Ваксель брал в экспедицию своего сына Лоренца, чтобы с малых лет приучать его к морю, знакомить с искусством кораблевождения. Жаль только, что впечатления и бесхитростные переживания мальчика не использованы ни отцом в его книге, ни кем-либо из других участников плавания на «Св. Петре». Свидетельства мальчика об этом плавании представляли бы для исследователя несомненный психологический интерес и тем более они были бы неоценимы для писателя-беллетриста. Только однажды, говоря о том, как мало осталось на острове у них муки и с каким трудом они пекли из нее необыкновенно вкусные лепешки, Ваксель упоминает о сыне: «Мне в особенности приходилось тяжело, так как со мной был мой родной сын, мальчик двенадцати лет Лоренц Ваксель. Ему, конечно, хотелось съесть такую же долю, как и мне; и мы с ним договорились, что тому из нас, кто за обедом получил три ложки этого теста, вечером доставалось всего две ложки».

(Как и рассчитывал отец, Лоренц связал впоследст-

¹ Приобрести эту книгу я мечтал давно, еще с первого приезда на Командоры, но при весьма скромном ее тираже оставалось только надеяться на счастливый случай. И мне повезло. Придя однажды в маленький букинистический магазин, что в Столешниковом переулке, я с ходу, ни минуты не раздумывая, купил несколько книг по истории освоения Северо-Востока и в их числе довольно дорогой толстый фолиант Слюнина «Охотско-Камчатский край» в солидной старинной коже. Поняв, что перед ним не случайный покупатель, продавец молча водрузил передо мной кипу книг, ранее обретавшихся под прилавком. Я невольно вздрогнул, увидев в этой кипе совершенно новенькую, никем, вероятно, не читанную, строго, со вкусом оформленную книгу Вакселя.

Мое волнение может понять только тот, кто и сам способен годами охотиться за редкой книгой, тем более, если она необходима, как первоисточник для работы.

вии свою судьбу с морем. В чине капитана генерал-майорского ранга он незадолго до кончины был главным командиром Архангельского порта.)

К моменту высадки на остров все командиры, которым привычно было бы управлять работами по разгрузке пакетбота и устройству на берегу, оказались безнадежно больными. Ни Ваксель, ни корабельных дел мастер (а к концу своей жизни контр-адмирал) Софрон Хитров, не говоря уже о Беринге, ходить не могли.

Здоров был едва ли не один Стеллер, который с утра волей-неволей взял всю распорядительную власть в свои руки. Впрочем, это выразалось в том, что он работал не покладая рук с несколькими матросами, которые еще могли ходить. Уже было более или менее ясно, что земля эта вовсе не Камчатка и вряд ли она обитаема. А раз так, то оставалось только принять этот факт за непреложность и соответственно устраивать свою дальнейшую здесь жизнь. Устраивать прежде всего с таким расчетом, чтобы кое-как перезимовать зиму — не очень морозную, но выюжную и длинную.

«Хотя в то время я лежал совершенно обессиленный от болезни,— пишет Ваксель,— мне все же пришлось приняться за дело. Я решил руководить командой по возможности кротко и мягко, поскольку жестокость и строгость были бы при таких обстоятельствах совсем неуместными и не привели бы ни к каким результатам».

Еще бы! Ведь было уже не разобрать, кто господин, а кто слуга, суровые условия жизни на необитаемой земле и предшествующие этому бедствия почти начисто стерли сословные различия. Потому-то «и афицеры и господа, лишь бы на ногах шатались, также по дрова и на промысел для пищи туда же бродили и лямкою на себе таскали».

Лишь в середине марта следующего года посланный для обстоятельной разведки боцманмат Иванов установил, что земля эта «подлинно остров».

К тому времени все, кто остался в живых, уже немало оправились от болезни. На первых порах выручило свежее мясо куропаток. Тогда их было на острове фантастически много. За час — причем в одном месте, в долине либо на склоне сопки — били по восемьдесят птиц! Очень поздно люди экспедиции положились на знания Стеллера. Ваксель (отнюдь не друг натуралиста, хотя в своей книге задним числом он старается выглядеть объективным и кое-где даже приукрашивает их взаимные отношения) охотно признает, что тот своим знанием трав и их целебных свойств оказал команде большую услугу. «Могу с полной достоверностью засвидетельствовать, — подчеркивает он, — что ни один из нас не почувствовал себя вполне здоровым и не вошел в полную силу, пока не стал получать в пищу зелень, травы и корни».

После сообщения боцманмата Иванова тоска, овладевшая всеми в лагере (исключая разве Стеллера), сменилась непривычным возбуждением. По крайней мере внесена ясность: остров так остров. Наверное, где-то поблизости и Камчатка. В погожие дни с высоких сопок можно было увидеть на западе смутно голубеющую землю.

Пошли споры-разговоры, каким образом туда добраться: ведь пакетбот был выброшен на берег в совершенно непригодном для плавания виде, — собственно, от него остался один скелет. Кто предлагал построить плот с парусом, кто — большую лодку единственно для того, чтобы два-три посланца бедствующей экспедиции дали о ней весть. Но плот могло носить по морю очень долго и вообще занести не туда, куда следовало, лодка

же всех не заберет, да и кто будут те счастливики, которые окажутся в роли посланцев? Скорее всего офицеры. А матросам еще одну зиму бедовать здесь? Нет, такой план, хотя и легко выполнимый, поскольку лодку можно было скорее построить, мало кого удовлетворял. В конце концов Ваксель и Хитров предложили построить... корабль! Вот уж корабль действительно всех заберет. И даже если земля, которая видна в ясную погоду, окажется не Камчаткой, с кораблем это разочарование можно будет перенести спокойней.

Правда, предложение Вакселя показалось сначала абсурдным. Из чего строить корабль? Из остатков пакетбота и наносного леса. Кто будет строить, надо же знать ремесло судостроения, худо-бедно, но понимать в плотницком деле? В плотницком деле оказался сведущ Савва Стародубцев. Лишь бы правильные были чертежи, заявил Стародубцев, а за ним дело не станет. (Ваксель впоследствии воздал ему должное, заявив, что едва ли справился бы «с делом без его помощи». И представил по возвращении к награде. Енисейская канцелярия пожаловала недавнего матроса-плотника званием сына боярского: это было производство в сибирские дворяне.)

Словом, с превеликими трудностями и напряжением всех сил суденьшко (гукер) было построено. Было оно тесновато, но в тесноте да не в обиде, на нем ведь хотели только добраться кое-как домой, на родную землю!

Крепко сколоченное суденьшко шло ходко, даже перенесло основательный шторм, и всего за пятнадцать дней достигло петропавловской гавани. Да ведь и правили им знающие люди, умудренные бедственным опытом... Свен Ваксель, сумевший сплотить людей экспедиции перед лицом испытаний, выпавших на их долю, во-

одушевивший их на, казалось бы, неосуществимую постройку вместительного гукера; Софрон Хитров, умелец-навигатор в офицерском чине; разжалованный лейтенант флота Дмитрий Овцын, умница и храбрец. Вот о нем хотелось бы рассказать подробнее, ибо его имя в истории освоения русскими Северного морского пути стоит на одном из первых мест.

Вторая Камчатская экспедиция, которую называют еще Великой Северной, имела не одну только узко оговоренную задачу достижения Америки как таковой и получения доказательств существования пролива между нею и азиатским берегом. Исследовалось также побережье Ледовитого океана, наносились на карту Южно-Курильские острова и заодно была «проведана» сама Япония, о которой тогда говорили много противоречивого; японцы сознательно оградил себя от проникновения иностранного влияния, разрешив в виде отдушины доступ в свои гавани лишь купеческим кораблям голландцев.

Так вот, первого успеха в экспедиции добился как раз лейтенант Дмитрий Овцын. Летом 1737 года бот «Обь—Почтальон», которым он командовал, вышел из Оби и прошел по Ледовитому океану до Енисея. Было сделано описание побережья между устьями этих рек, причем и на участках морского пути, до того времени совершенно не изученных. Ценою нечеловеческих усилий, ценой неисчислимых жертв и благодаря безусловному личному мужеству Овцына русские люди с четвертой попытки все же открыли морской путь из Оби в Енисей! Были минуты, когда истощенного, харкающего кровью, страдающего резкими болями Овцына выносили на палубу на руках, чтобы он мог принять то

либо иное решение. Но неудачи и болезни не сломили его упорства, и, верный своему долгу, он продолжал пробиваться сквозь льды; отступал, чтобы на следующее лето снова и снова начать плавание с исходной точки. В конце концов поставленная перед его отрядом задача была выполнена, и измученные первопроходцы смогли получить небольшую передышку.

В то время сенат без конца теребил Беринга, требуя действий, а размеры предприятия, во главе которого он стоял, были огромны, за всем сразу было не успеть, не хватало транспорта, случались перебои с провиантом, надвигалась зима, до Камчатки колымага экспедиции далеко еще не докатилась, на капитана-командора строчили доносы,— в таких условиях неторопливо делавший свое дело, измученный всей этой суетой капитан-командор писал в Петербург только об одном: чтобы его сместили с должности, что она ему непосильна, что он стареет и здоровье у него не прежнее. Он тем чаще жаловался сенату, что похвастать какими-то вполне определенными результатами экспедиция, ведомая им сквозь дебри сибирские, пока не могла. И тут известие о благополучном переходе Овцына по Ледовитому океану между двумя величайшими реками Сибири! Это было первое весьма ощутимое достижение в ряду тех исследований и работ, которые стояли перед экспедицией. Успех Овцына дал возможность главе экспедиции отвести от себя нападки сената, а заодно помог ему приобрести душевное спокойствие, увериться в своих силах. Он тотчас же написал Овцыну теплое, исполненное дружеского участия, поздравительное письмо: «Весьма радуюсь о таком благополучном и еще до сего необретенном, ныне же счастливо вами сысканном новом пути,— писал капитан-командор,— причем и вас о том вашем благополучии поздравляю. И прошу, дабы

я и впредь приятным вашим уведомлением оставлен не был, чего охотно слышать желаю».

Однако Овцын этого письма не получил.

Накануне своего блистательно завершенного перехода он жил в Березове на Оби, готовясь к очередной летней навигации. Городок этот был местом ссылки Петрова любимца Меншикова (нам знакома картина Сурикова на березовский сюжет). Взошедшая через несколько лет на русский престол Анна Иоанновна вскоре сослала в Березов и всю семью Долгоруких — именно они были повинны в ссылке сюда Меншиковых. Таким образом, новая императрица ограждала себя от притязаний старой знати, с помощью которой взошла на престол, и в то же время создавала видимость верности делам и наказам Петра (чем угождала петровской партии); к Петру же она была в лучшем случае безразлична. Но в угоду этой мнимой верности Петровым начинаниям она как раз и повелела снарядить Вторую Камчатскую экспедицию.

В Березове Овцын волей-неволей познакомился с Катей Долгорукой, в свое время невестой Петра Второго. Опальным Долгоруким в ссылке пришлось весьма несладко¹. Князья или не князья, древние или не древ-

¹ Совсем безвинно страдала в Березове Наталья Долгорукая — дочь героя Полтавской битвы, «птенца гнезда Петрова» фельдмаршала Шереметева. Шестнадцатилетней она была обручена с Иваном Долгоруким, а через 26 дней после обручения, вопреки советам родственников, добровольно пошла за ним в ссылку («когда он был велик, так я с удовольствием за него шла, а когда он стал несчастлив — отказать ему?»). В результате происков канцеляриста Тишина ее муж, арестованный в одно время с Дмитрием Овцыным, был вскоре четвертован.

Жизнь Натальи Долгорукой — образец высокой верности супружескому долгу и стойкости духа, который не смогли сломить самые тяжкие испытания. Впоследствии, уйдя в монастырь, она с гордостью писала: «Я доказала всему свету, что я в любви верна».

ние — никому до этого дела не было, раз попали в ссылку. Таких обидеть — о себе с лучшей стороны заявить, перед начальством выслужиться. Вот и оскорбил однажды княжну Катю местный канцелярист Тишин, за что был избит Овцыным.

Пока канцелярист писал в Петербург донос о связи Овцына с государственными преступниками, пока донос этот мчался где на олёнях, где на перекладных до столицы, Овцын проложил новый морской путь между Обью и Енисеем, что, впрочем, в смягчении наказания для него никакой роли не сыграло. Его провинность перечеркнула эту великую заслугу.

Овцын возвращался с Енисея, когда в Тобольске его схватили и допросили в тайной канцелярии. Найдя виновным, отправили под конвоем к Берингу для прохождения дальнейшей службы, только уже в качестве матроса. Но как раз Беринг отнесся к разжалованному лейтенанту очень тепло, насколько это было возможно в тех обстоятельствах, и взял к себе как бы в адъютанты или ординарцы. Тем самым он избавил его от тяжелой матросской службы и дал возможность чувствовать себя не последним человеком в экспедиции. Сам он, уважая в Овцыне навигаторский талант и здравый ум, спрашивал его советов и прислушивался к его мнению во время всего плавания к берегам Америки. Мало того: Овцын с разрешения капитана-командора присутствовал на всех офицерских советах в плавании. Но когда на последнем из них, отвечая Берингу, он твердо заявил, что земля, к которой вынесло пакетбот, вовсе не Камчатка, ему пришлось выслушать немало грубых слов и в конце концов выйти из каюты. Господа офицеры не могли, конечно, знать, как не знал и сам Овцын, что он восстановлен в звании еще в феврале: слишком долго шла на Камчатку почта.

С большой теплотой отзывается о нем Стеллер (значит, все-таки были в экспедиции люди, с которыми натуралист умел прекрасно ладить!). Вот как описывает он ненастный штормовой вечер, когда пакетбот стремительно несло на рифы острова Беринга: «Постоянные удары волн, крики, стоны увеличивали суматоху; никто не понимал, кто дает и кто получает приказания. Охваченные страхом смерти, офицеры кричали, чтобы обрубили канат второго якоря и бросили новый якорь в буруны. Таким образом, мы потеряли в течение короткого времени два якоря. Тогда вперед вышли Овцын... и боцман и приостановили спуск еще одного якоря, так как это было бесполезно, пока мы находились среди волн и рифов, где нас бросало. Они предложили, наоборот, предоставить судну плыть. Когда мы прошли, таким образом, через барьер и линию прибоя, эти люди, которые только одни сохранили рассудок, предложили бросить последний якорь. Между берегом и бурунами мы оказались, как в тихом озере. Все сразу успокоились, и страхи окончились».

Немного странно читать такое о человеке хрупком, с почти женственными чертами лица (если судить по дошедшему до нас портрету). Конечно, художник мог и польстить натуре — не нам осуждать его.

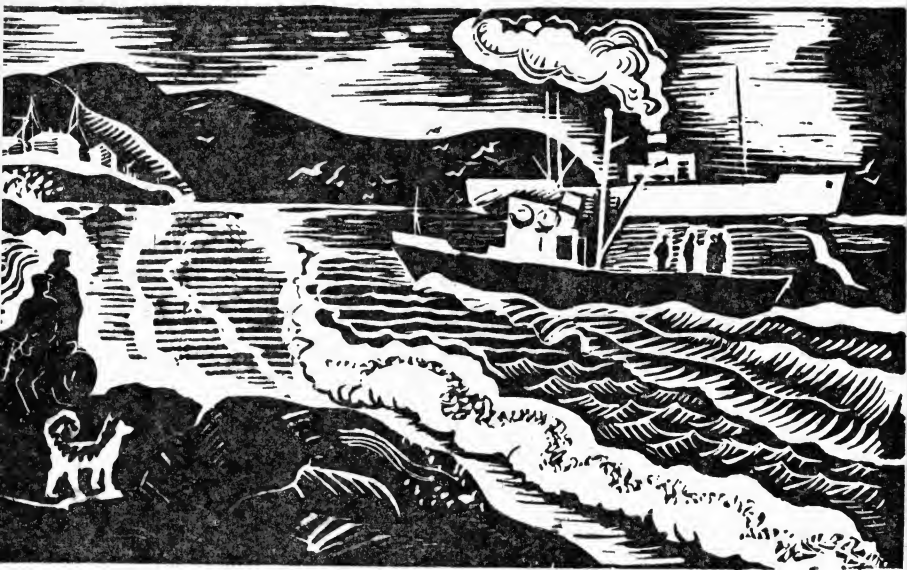
Дальнейшая биография Овцына прослеживается смутно. В 1749 году он получил звание капитана II ранга.

Может возникнуть вопрос, для чего я так подробно пишу о Беринге, Стеллере, Овцыне. Да потому, что они — самое-самое начало истории Командор. С их именами многое здесь связано. Они ПЕРВЫЕ КОМАНДОРЫ этой туманной земли. Первые жители ее.

В экспедиции Беринга, безусловно, найдется немало и других славных имен, оставивших по себе добрую память либо полезной административной деятельностью на северо-востоке страны, либо причастностью к более или менее значительным географическим открытиям. Взять хотя бы простого казака Гаврилу Пушкарева, ставшего завзятым мореходом. В 1761 году он первым из русских людей достиг Аляски и зазимовал там. Или вот Иван Синдт, гардемарин в экспедиции Беринга, впоследствии лейтенант флота. Личность немного загадочная, ибо в представленных им отчетах о плавании к Большой (американской) земле сведения о подлинно новых островных землях соседствуют с явным вымыслом; иные «открытия» Синдта так и не были помечены на карте. Наконец Федор Плениснер, участвовавший в плавании к берегам Америки в качестве художника и рисовальщика карт. Много лет спустя он управлял Чукоткой и Камчаткой, умея находить общий язык с «дикими народами»; а главное, в бытность свою начальником этого громадного края он прилежно занимался географическими исследованиями.

Понятно, что я вынужден ограничиться здесь короткими справками. А ведь можно книги писать о каждом из этих людей. Все они прошли в свое время суровую командорскую школу.

АЛЕУТЫ



В 1826 году Российско-Американская компания в целях упорядочения котикового промысла завезла алеутов и на Командоры. С тех пор эта земля стала кровно им близкой, тем более, что и по природным условиям она почти ничем не отличается от Алеутских островов. Разве что в лучшую сторону.

Само происхождение алеутов в точности неизвестно. На этот счет существовали (и существуют) различные теории. Автора увлекательной книги «Колыбель ветров» американца Теда Бенка II, близко знакомого с жителями Алеутской островной гряды, привлекает своей «солидной аргументированностью» теория близости алеутов к эскимосам.

Выходцы из Азии, мигрируя в древние времена вдоль побережья Берингова моря, они попали через Берингов пролив на Алеутские острова. И это не случайно, так как Алеутский архипелаг привлекал мигрирующие в древности народы довольно мягким климатом, изобилием морских животных, птиц, рыбы, разнообразной растительностью (особенно на островах, прилегающих к Аляске). Сами себя эти люди называли унангунами (унангах — значит человек).

По-видимому, они имели связи и с американским материком, что, вероятно, способствовало проникновению на отдельные острова архипелага чисто индейских племен, хотя бы колошей. Первыми мореплавателями были отмечены у алеутов атрибуты индейской культу-

ры. В частности, существует рисунок калюмета, исполненный Свенном Вакселем,— это полая палка, разукрашенная орнаментом и перьями. Служит она обрядовым целям. Полость калюмета венчается чашечкой, в которую набивались благовонные травы. Калюметы закуривали, когда это нужно было по ходу обряда или какого-либо важного торжества. Но это у индейцев. Возможно, так же использовался калюмет и у алеутов, это не проверено. Словом, оставаясь спорным, вопрос о происхождении и древнейшем расселении алеутов до сих пор волнует ученых. Тем не менее большинство их стоит ныне на точке зрения русского этнографа В. И. Иохельсона, считающего, что заселение Алеутского архипелага шло не из Азии, а из Америки, являясь в некотором роде обратной миграцией народностей, в свое время проникших в Северную Америку через Берингов пролив.

Можно допустить, что предки алеутов пришли на земли архипелага более четырех тысяч лет назад. Они прижились здесь, создали самобытную культуру. Кое-что из этой культуры было впоследствии скопировано другими северными народностями.

Соседство с эскимосами, обосновавшимися на Аляске и ближних к ней островах позднее, а также с индейцами, связанная с этим расчлененность унангунов, их островная изолированность привели к тому, что алеутская народность распалась на племена. Появились не только различия в языке, но и во внешности, в поведении. Ко времени прихода сюда русских в 1741 году алеуты часто враждовали с соседями, а иногда и с людьми своего же племени, живущими в другом островном клане.

Этнографическая сторона их жизни, всевозможные представления и обрядовые действия довольно любопыт-

ны. Их можно проследить по запискам наших мореплавателей Сарычева, Коцебу и других.

Известно, что знахари на островах были искусными лекарями, разбирались в целебной силе трав. Известно и то, что хирургия у алеутов даже в то время стояла на уровне, которому могли позавидовать и медики цивилизованных стран. У человека с больными легкими они прокалывали каменными иглами грудную клетку, чтобы «выпустить воздух». Такая операция требовала от знахаря великого умения, так как нужно было точно знать, где и как делать проколы. Откуда же бралось это умение? На этот вопрос дает ответ священник — миссионер И. Вениаминов в своих «Записках об островах Уналашкинского отдела».

«Алеутские врачи очень славились своим искусством в прежнее время,— пишет он.— Чтобы основательно узнать внутренние части человека, и особенно те места, где они делали операции, они вскрывали умерших калгов (рабов.— Л. П.) или убитых неприятелей. Но со времени прибытия русских не стало у них ни калгов, ни неприятелей, и потому анатомирование прекратилось, а с тем вместе стало упадать и самое врачебное искусство их, так что в нынешнее время не найти уже ни одного такого искусного лекаря, каковы бывали прежде».

Далее он пишет о прекрасных физических качествах этого народа, в частности о презрении к боли. Если алеуту случалось попасть в капкан, поставленный на лису, он без единого стога давал вынуть из ноги его зубья; причем эти зубья нельзя было вынуть так же легко, как они вошли в ногу, а приходилось раскалывать дерево, в которое они были вбиты, и протаскивать их насквозь через ногу. Алеут и сам производил эту операцию, если некому было помочь.

Особо следует отметить их отношение к умершим. Когда-то, до введения на островах христианства, при погребении алеутского старосты клали с ним его лучших слуг. Потом этот дикий обычай, характерный для многих нецивилизованных народов, исчез.

Жены умерших обрезали волосы в знак траура, иногда подолгу не давали хоронить своих мужей, пока в жилищах не распространялось зловоние. Младенцев и вовсе не хоронили, а держали в специально сколоченном ящике в углу жилища либо привешивали ящик над постелью. Лишь рождение другого ребенка заставляло, согласно обычаю, погребать высохшую мумию.

Муみифицирование покойников вообще было широко развито у алеутов. У них, как отмечает Тед Бенк, «практиковалось три способа избавления от трупа: зарывание в землю, кремация и захоронение в пещерах... При подготовке трупа к захоронению в пещере ему делали надрез над желудком и удаляли все внутренности. Грудную клетку и полость желудка набивали благовонными травами, и труп облачали в парку из морской выдры или птичьих шкурок, а иногда поверх парки еще в водонепроницаемое одеяние из кишок морского льва. Затем труп забинтовывали в сидячей позе, с крепко прижатыми к торсу руками и ногами. Наконец мумию завертывали в циновки, сплетенные из тончайшей травы, и шкуры морского льва и туго перевязывали. Охотников хоронили вместе с оружием и даже байдарами. Воинов и вождей облачали в деревянные доспехи, а рядом клали их копья и дубинки. Алеуты верили в то, что пещеры — это общины мертвых, в которых покойники продолжают вести в мире духов в основном тот же образ жизни, что и до кончины».

Случалось, что мумифицированные трупы окамене-

вали. Их располагали в пещерах по-всякому, иногда подвешивая на ремнях к колышкам, вбитым в стены. Жутковато даже представить себе это. А каково человеку, случайно наткнувшемуся на такую пещеру и вдруг увидевшему в ней безобразную мумию, лицо которой опутано длинными волосами, мумию, сидящую в старинной байдаре с глазами, устремленными в море? Хотя пещеры для захоронения мумифицированных покойников выбирали в скалах подальше от глаз человеческих, люди не очень-то стремились их разыскивать то ли из суеверия, то ли из страха. Только этим можно объяснить, что Тед Бенк нашел несколько мумий (исследователи находили их и раньше, но более поздние по времени), пролежавших в пещерах едва ли не тысячу лет! Впрочем, бывали случаи, когда на хищение мумий после открытия островов отваживались и некоторые пришлые зверобои.

Я уже говорил в начале книги, что в предвоенные годы мумии здесь искал известный ученый-антрополог Хрдличка. Через несколько лет он умер. На островах считалось, что смерть ученого произошла именно потому, что он лазил везде в пещерах, дышал их «дурным духом», касался мумий, пренебрегая советами об осторожности.

Почти всеми ранними путешественниками отмечалось бесстрашие алеутов на охоте, в единоборстве с морем. Их байдара — это чудо рукотворное. Внешне она похожа на те каяки, какие видел у гренландцев и живописал на своих величественных полотнах Роквелл Кент. Каркас байдары собирался из дерева и китового уса; его обтягивали шкурами. Шкуры в свою очередь переходили в непромокаемую горловину, сшитую из кишок; под мышками у гребца ее можно было туго завязать. И все! Теперь гребец составлял единое

целое со своим корабликом. И кораблик этот бывал магически послушен самому легкому движению весла. Алеут мотался по волнам как поплавок, его могло захлестнуть, даже опрокинуть, но гребец одним движением тела вымахивал наружу, не расставаясь с байдарой, как не расстается улитка со своей раковиной.

Читаешь Вениаминова — и только диву даешься (никто лучше не описал всей затейливости алеутской байдарки): «В то время у отличных ездоков она столь легки были на ходу, что не отставали от птиц (стремительно скользящих по воде во время взлета.— Л. П.); столь узки и острокильны, что без седока не могли держаться на воде в прямом положении, и столь легки, что семилетний ребенок легко мог переносить их... В лучшую байдарку однолючную, чтобы сделать ее ходкою, во всех составах ее вставлялось до 60 косточек, как то втулочков, вертлюгов, замочков, пластинок и проч. И такой байдарки во время хода всякой почти член имел движение».

Вениаминов справедливо называл алеутов «морскими казаками». Воду алеуты боготворили, потому что она давала им едва ли не все, чем они жили и питались.

Они не боялись моря и знали, как им повелевать. И впрямь нужна была незаурядная смелость, чтобы нападать на одновесельной байдаре с коротким копьем на кита — властелина моря. Собственно, требовалось только ранить гиганта, но ранить так, чтобы его ничто не спасло. С этой целью алеут осторожно подплывал к киту и очень быстрым движением вонзал копьё под передний ласт. Удар наносился энергично, так, чтобы копьё по возможности застряло глубоко, достигло внутренностей. Киту теперь не было спасения: сколько бы ни носился он по морю, истязаемый болью, через день-два его выбрасывало на берег (однако далеко не

всегда; ведь тушу могло отнести и к другим берегам, увлечь в открытое море). Но если охотник не успел вовремя отплыть, раненый кит ударом хвоста мог подбросить байдару в воздух, смять ее в лепешку вместе с человеком.

В 1768 году корабли мореплавателей Креницына и Левашева, обследовавших берега Северной Америки, разбросало по морю бурей. Креницын вынужден был зазимовать в непосредственной близости от Аляски (так что его люди изредка отправлялись туда в поисках пропитания), а Левашев возвратился к острову Уналашке (на востоке Алеутской гряды). Голодали в ту зиму как люди Креницына, так и Левашева, хотя последние в меньшей степени (ели выброшенных морем китов). Наконец в мае один уналашкинский староста — алеут, завязавший с левашевцами дружеские отношения, решился на розыски Креницына. Он пошел к Аляске с сотней байдар. Враждебно настроенные племена с берегов, мимо которых лежал путь мужественного уналашкинца, встречали его градом стрел, происходили кровопролитные битвы, на море свирепствовали многодневные штормы, тонули байдары, люди... В пролив, на берегу которого обосновались немногие выжившие после цинги люди Креницына, смогли добраться всего лишь... две байдары! Остальные девяносто восемь были навсегда потеряны вместе с гребцами. Но, свято выполняя поручение, данное Левашевым, отважный староста-алеут не дрогнул, не повернул назад.

Алеуты довольно быстро подчинились русскому влиянию, хотя в ряде случаев по недоразумению или неумению обоюдно выяснить свою позицию происходили и печальные события, напрасно лилась кровь. Понятно, что сама природа всякой колонизации в основе своей жестока. Но к тому времени, когда на Алеутских

островах обосновалась и укрепилась Российско-Американская компания, русские и алеуты действовали почти всегда заодно. Джемс Кук, посетивший эти острова в 1778 году, прямо-таки с изумлением отмечал здесь «картины величайшей гармонии, которая только может существовать при общении разных наций». Величайшей гармонии, надо полагать, все-таки не было, просто Кук знал куда худшие образцы сосуществования белых пришельцев и аборигенов, да и сам был склонен толковать с этими последними как раз «с позиций силы», за что вскоре и поплатился на Гавайях собственной жизнью.

Когда на острове Ситхе было заложено большое поселение компании, охраняла его от воинственного индейского племени колошей небольшая горстка русских и алеутов. Правитель компании Баранов считал, что он подарил это племя щедрыми подарками и таким образом восстановил мир. Поэтому он со спокойной совестью уехал на остров Кадык.

Жизнь на Ситхе действительно проходила тихо. Но маленький островной гарнизон был введен в заблуждение. Года два спустя колоши напали на крепость, захватив охрану врасплох; все без исключения обитатели крепости — русские, алеуты, а также их семьи — были жестоко умерщвлены. Только нескольким охотившимся алеутам удалось спастись. Сев в свои байдары, они бесстрашно поплыли к острову Кадыку, чтобы сообщить Баранову о разыгравшейся в ситхинском поселении трагедии.

Баранов вскоре высадился здесь с отрядом, и заговорили пушки. Колоши вступили в переговоры о мире, выдав в качестве заложников сыновей своих вождей. Мир был заключен, и Баранов предоставил колошам возможность уйти куда они хотят. Однако врожденная

подозрительность помешала им свободно воспользоваться честными условиями заключенного мира: колоши ушли из крепости ночью тайком, а чтобы старики и дети не стали им обузой при поспешном бегстве, они их убили.

Поведение алеутов, наоборот, почти всегда характеризовалось добротой и миролюбием, хотя они и умели постоять за себя.

В знаменитой колонии Росс гарнизон состоял из 26 русских и 102 алеутов. «И с такою-то силою здешний правитель коммерции советник Кусков не страшится испанцев и пренебрегает всеми их угрозами», — отмечает в книге «Путешествие на шлюпке «Камчатка» Василий Головин. А советский писатель-историограф Сергей Марков приводит в своей «Летописи Аляски» пример, когда испанцы взяли в плен алеутов из этой колонии, подвергли их нечеловеческим пыткам, «принуждая воспитанников Баранова принять католичество и перейти на службу к испанцам». Один из алеутов умер от пыток, но присяге не изменил. Остальных удалось выручить из застенка отцов-францисканцев.

Новый этап в отношениях между русскими и алеутами наступил с приездом сюда Иоанна Вениаминова (впоследствии митрополит Московский и Коломенский Иннокентий). Он был довольно образованным для своего времени человеком. Попад миссионером к алеутам, он десять лет прожил среди них безвыездно (возвращался в качестве инспектирующего лица и позже). В короткое время изучил он алеутский язык. Учредил на острове Уналашке школу для русских и алеутских детей. Составил первую научную грамматику алеутского языка и алеутский алфавит. Наконец привил на островах любовь к огородничеству и ремеслам, в частности к кузнечному делу.

Вениаминова по праву считают не столько священником, сколько ученым этнографом и естествоиспытателем. Он тщательно наблюдал за природой, пользуясь для этого и собственного изобретения приборами.

Он оставил нам чрезвычайно ценную книгу-исследование «Записки об островах Уналашкинского отдела». Не одно поколение географов, историков и этнографов пользуется этим трудом.

После продажи русским правительством в 1867 году Алеутских островов и Аляски Соединенным Штатам новые хозяева островов, по свидетельству Теда Бенка, сразу же передоверили алеутов браконьерам и биржевым дельцам.

Котики, поголовье которых было мало-помалу восстановлено русскими, в итоге хищнического промысла снова оказались на грани истребления. Правительство штатов спохватилось, ввело особые правила, а заодно обратило внимание и на самих алеутов. Появились бесчисленные администраторы и учителя. Алеутов обязали изучать английский язык, над их обычаями глумились, пытались ломать (и ломали) привычный бытовой уклад... Понятно, что любые начинания американцев после этого казались алеутам посягательством на свободу их личности, «гонением на родной язык и веру». Тем более настойчиво и упорно держались они за религию русских, и даже самое преподавание английского языка в островных школах расценивали как попытку отвлечь от православной веры. Дальше Тед Бенк отмечает, что американские моряки редко посещали алеутские гавани, русские же корабли до революции были здесь частыми гостями, вызывая у старейших алеутов «приступы тоски по родине».

Счастливей сложилась судьба у потомков тех алеутов, которые некогда были завезены Российско-Амери-

канской компанией на Командоры для промысла котиков.

Еще Стеллер высказал догадку, что на эти острова не ступала прежде нога человека. И впрямь позднейшие исследователи не находили здесь доказательств, что, мигрируя на юг или на север, через Командоры прошла какая-либо народность. Впрочем, есть очень давние сведения, что здесь находили остатки каменных стрел, но поскольку это была единственная находка, остается предположить, что они занесены сюда случайно.

Таким образом, алеуты на Командорах явились тем коренным ядром жителей-аборигенов, вокруг которого образовались позднейшие национальные наслоения.

Переселение алеутов на Командоры вызывалось прежде всего экономическими соображениями. Быстро развивался котиковый промысел. Новая технология обработки и крашения котиковых шкур потребовала перехода к засолке этих шкур на месте, сразу же после съемки. Понадобилась и постоянная квалифицированная рабочая сила, более дешевая, нежели все увеличивавшийся сезонный завоз промысловиков.

Известный русский географ и мореплаватель Ф. П. Литке побывал на Командорах во время кругосветного плавания 1826—1829 годов. Он должен был узнать точное место селения Российско-Американской компании, куда по договоренности с нею собирался завезти через год алеутов с Уналашки. Он нашел здесь 110 человек, преимущественно алеутов с островов Атгу и Атхи.

В 1840 году компания привезла на острова в качестве рабочих русских, зырян (коми), цыган, даже киргизку. Постоянными жителями Командор в те времена стали курильские айны, эскимосы с острова Кадьяка, колошенские креолы. И вряд ли есть сейчас основания

утверждать, что около трехсот алеутов, проживающих ныне на Командорах, являются чистой расой. До революции, например, сами они склонны были называть себя креолами, тем самым подчеркивая свое кровное родство с русскими. Да и не всегда отличишь сейчас алеута от русского, тем более, что и фамилии у них русские: Яковлевы, Бадаевы, Сушковы, Хабаровы, Ладыгины и т. д.

До революции алеуты на Командорах жили довольно незавидно, хотя, может быть, и лучше, нежели их соплеменники, оставшиеся под опекой Соединенных Штатов. Лучше прежде всего потому, что русские относились к ним без расовых предрассудков, уважали их национальное самосознание, сплошь и рядом рондлись.

В промысловый сезон алеуты хорошо зарабатывали на забое котиков, но, к сожалению, быстро проедали и пропивали все деньги. Дети природы, они надеялись, что природа не даст им умереть с голоду, что море кое-как всегда прокормит, а потому на деньги смотрели как на дар божий: они могли быть, а могли и не быть. Обычно безденежье не очень печалило алеута, разве что лишний раз не выпьешь. Да, первая чарка, которой угостил алеута Свен Ваксель, дала свои губительные плоды. Впрочем, не он, так другой в свой час угостил бы. И уж вовсе не щадили их американцы, занимавшиеся арендованным промыслом на островах: чем больше алеут выпьет дешевого зелья, тем меньше он получит наличными. Цены, естественно, устанавливали сами концессионеры.

Любили алеуты сладости и покупали их обычно до тех пор, пока не иссякнут наличные деньги. В лавке всегда стоял галдеж, обсуждались товары, и нужные, и ненужные, причем здесь толпились не столько поку-

патели, сколько зрители и «болельщики». Словом, лавка до революции заменяла на островах клуб, тем более, что клуба здесь не было и в помине, была только церковь (которая, кстати сказать, давно переделана под клуб с широким экраном для демонстрации кинофильмов и исправно служит целям культурного просвещения; правда, уже запланировано строительство большого Дома культуры).

Плохо сказывалось на здоровье алеутов чрезмерное потребление табака, курили тогда здесь все поголовно, даже дети и женщины; на Медном и того хуже — там предпочитали табак жевать, смешивая его с золой и смачивая. Почти все население болело сифилисом. Он был завезен на острова американскими купцами и матросами. Доктор Дыбовский, ссыльный поляк-революционер, в 1880 году отмечает на Командорах лишь три случая заболевания этой болезнью, тогда как в начале двадцатого столетия она уже приняла эпидемический характер.

Нередки были браки между родственниками. В результате — вырождение, чему способствовал также и алкоголизм. Все это вместе взятое ослабляло человека, делало его организм восприимчивым к разного рода простудным заболеваниям. Грипп, обычно легко переносимый на материке, здесь осложнялся воспалением легких, часто со смертельным исходом. Ревматизмом страдало большинство населения.

Плохое питание особенно сказывалось на детях в возрасте до года. Нередко можно было увидеть во рту у ребенка соску из юколы, не всегда доброкачественной. В итоге у детей зачастую наблюдались признаки детского маразма, они выглядели маленькими старичками. Не всегда потом эти признаки исчезали. Высокий процент глухих, немых и калек от рождения, особенно

на острове Медном, сразу бросался в глаза свежему человеку. Е. К. Суворов в своей книге «Командорские острова и пушной промысел на них» (1912 год) прямо заявляет: «Вымирание командорских алеутов вне всякого сомнения. Если вымирание тем же темпом пойдет и дальше, то менее чем через 50 лет на островах останется только одна уездная администрация, но населения уезда уже не будет».

Надо ли оговариваться, что мрачные прогнозы Суворова не оправдались лишь потому, что на острова пришла революция?

В алеутской деревне, опекаемой американцами, Тед Бенк и несколько десятилетий спустя видит «рассадник болезней». Он сообщает, что средняя продолжительность человеческой жизни на Атхе (кстати, потомки алеутов с этого острова живут ныне на острове Беринга.— Л. П.) исчисляется всего двадцатью пятью годами. «Мы обнаружили, что из шестидесяти шести человек, проживающих на Атхе, всего четверо мужчин и две женщины были в возрасте свыше пятидесяти лет. За последние двадцать лет (книга написана в 1946 г.— Л. П.) на острове Атха в девяти семьях из одиннадцати наблюдались случаи заболевания туберкулезом, в шести венерическими болезнями и в шести — воспалением легких. Все они переболели гриппом. В настоящее время почти сорок процентов атханцев больны туберкулезом».

Это почти тот самый уровень жизни, на котором мы остановились в рассказе о командорских алеутах дореволюционной поры.

Напрашиваются сравнения. Не буду говорить о болезнях; скажу лишь, что на советских Командорских островах есть больница, располагающая необходимым медицинским оборудованием, здесь работают несколь-

ко врачей, есть и хирург, и терапевт, и гинеколог. Болезням, таким образом, поставлен надежный заслон. Как и везде в нашей стране. Не хочу залезать и в дебри возрастной статистики. Скажу лишь, что знаком не с одним алеутом, которому уже за семьдесят! Юлии Сергеевне Ладыгиной, знатоку алеутской кухни, не раз угощавшей меня чрезвычайно вкусными потрошками из бычков и фаршированными тресковыми желудочками, сейчас 84 года. Любопытно мне было в свое время познакомиться с Константином Семеновичем Аксеновым — алеутом, в молодости повидавшим мир. Будучи рулевым на охранном судне «Адмирал Завойко», заходил он в Хакодате, Нагасаки, Шанхай, Сайгон... Насмотрелся на ужасающую бедность чужих краев, на нищенские кунгасы с парусами из циновок, промывавшие рыбу за 50—60 миль от родных берегов, на женщин, разгружавших уголь в японских портах... почти у каждой за спиной ребенок, а в руках килограммов на десять бамбуковая корзинка с углем... живой конвейер... И зубы у всех почему-то черные. Не утерпел Аксенов, спросил у синдо — их надзирателя, «почему у ваших мадамов зубы черные».

Оказалось, вдовы рыбаков. В знак траура красят.

Ох, как давно это было, еще на заре века. С тех пор чего только не пережил Аксенов, не раз, управляясь с бегучим такелажем, зубами в парус вгрызался, а то ведь порывом ветра снесет — и поминай как звали. Хорошую морскую выучку и классовую закалку получил в те годы Аксенов. В гражданскую быстро разобрался, где свои, а где чужие. Будучи старшиной катера, частенько по реке Камчатке партизан в сопки переправлял.

Но где бы ни носил его ветер странствий, все же пришел день, когда возвратился он на родную землю.

И приветствовал земляков довольно забавно: «Здорово, французы!»

С тех пор и знают его здесь, как «француза» (либо еще береговым боцманом зовут).

Тринадцать лет не видел я Константина Семеновича. И вот, поднимаясь из нижнего поселка Никольского, столкнулись мы на лестнице. Он не сразу меня признал, хотя и заговорил первым.

— Раньше я по этой лестнице бегом бегал,— сказал он, остановившись передохнуть,— а сейчас боюсь смаянаться... круто!

Бегом он бегал, надо полагать, лет в шестьдесят. А нынче как раз стукнуло восемьдесят. Что и говорить — дата! Тут же сбегал я за фотоаппаратом — обрамленное белой бородкой, немного лукавое, всегда с ироническим прищуром, лицо его так и просилось на пленку.

Утром, однако, я был поражен, увидев Константина Семеновича Аксенова бритым: никакой окладисто-степенной бородки, ничего от старого морского волка, разве только глаза по-прежнему задорно-смешливые, слегка навывкате.

— Внук заставил побриться,— смутился он.— Дед, говорит, ты еще молодой, сбрей бороду. Что, теперь для фотографии не годится?

Беспокойный старик! Ни минуты не посидит без дела. Обоснуется на ветерке около дома и что-нибудь делает, плетет — штерты какие-то, маты, весла строгают. Кому-то, глядишь, понадобятся. Недаром же зовут его береговым боцманом. Марку эту держит невзирая на годы.

А вот Евдокия Георгиевна Попова. Однажды наблюдал я за ней на районном партийном собрании. И невольно залюбовался: черты лица мягкие, однако харак-

тер виден, характер есть. Темная бронза кожи оттенена сединой волос, но карие глаза блестят юно.

Неожиданно для самого себя спросил в перерыве:

— Сколько же лет вам наступало, Евдокия Георгиевна?

Глупый вопрос. Да и знал ведь, что не меньше шестидесяти пяти...

Посмотрела на меня внимательно — зачем это мне ее возраст понадобился? — и сказала снисходительно-сердито:

— Тридцать три.

Что ж, пусть будет так. Ведь и впрямь более непоседливой женщины нет на всем острове. Первая комсомолка на Командорах — она! Здесь тоже это непросто было — вступить в комсомол. Долгое время с ней не разговаривали религиозно настроенные мать и братья. Ну, а потом комсомольцев стало много, — смирились и родители. А вскоре юную алеутку избрали секретарем командорской комсомольской организации. И председателем райисполкома была. Ближе к старости Евдокия Георгиевна перешла в районную партбиблиотеку. Сейчас, будучи уже на пенсии, заведует краеведческим музеем, организованным на общественных началах.

Обычно Евдокия Георгиевна мне проходу не дает: то дай ей для музея книжку, в которой есть очерки о Командорах, то подари для музея найденный на лайде зуб кашалота, то отпечатай лишнюю фотографию для стенда...

Кстати о музее. Заботам о нем здесь уделяют много времени — это свидетельствует о гордости островитян своею землей, своими достижениями. Есть тут, конечно,

портрет Беринга, нарисованный местным любителем-художником, есть редкие фотографии из дореволюционного прошлого алеутов... Чучела птиц, самодельный гарпун, с которым прежде охотились на косаток, раковины моллюсков островных побережий... А маленький алеут Вова Тютерев подарил музею детские лыжи, обтянутые нерпичьей шкурой.

Когда-то, к примеру, алеуты делали изящные зыбки для грудных детей: орлиная кожа натягивалась на легкий каркас пухом внутрь. О байдарках здесь уже говорилось. Но хотя бы макет ее увидеть собственными глазами! (Алеут С. Д. Березин рассказывал легенду, согласно которой первоизобретатель байдары вдохновлялся в своей работе строением трески — скелет и шкурка, просто и удобно, настоящая тебе бионика!) Всегда славилась рукодельем алеутки. Они плели из травы «керьох» циновки для пола, хозяйственные сумочки, украшенные орнаментом из цветного гаруса. Ныне мало кто сохранил высокое искусство плетения этих вещей, — в условиях, когда в домашний быт сплошь внедряются изделия из синтетики. Зачем готовить из желудка сивуча или другого зверя емкости для хранения юколы, жира, воды, когда проще купить в магазине подходящую посуду? И уж вовсе было бы смешно ходить в птичьих парках — будь они хоть перьями внутрь, хоть наружу. На островах свыше тысячи жителей, в большинстве приезжих, алеуты составляют лишь четвертую их часть. Мода поэтому для всех здесь одна — современная.

Призывы блюстителей старины возродить национальные промыслы обречены, как мне представляется, на неудачу, по крайней мере до поры, пока под это серьезное дело не будет подведена экономическая база, определенный хозрасчет. Скажем, почему бы уметь-

цам-алеутам не заняться в зимнее время изготовлением сувениров? Искусно выполненную модель байдары, обтянутую шкурой морского зверя, и я бы купил с удовольствием. А народу сюда приезжает с каждым годом все больше, от туристов отбоя скоро не будет. Но пока что сугубо алеутский, уходящий истоками в прошлое, колорит представлен на островах лишь двумя танцами — балансом и кадрилию. Без них не обходится ни одно выступление коллектива художественной самодеятельности. На мой взгляд, кадрили по хореографическому рисунку слишком «русская», и лишь в балансе прослеживаются изрядно уже стилизованные, «обкатанные» элементы самобытного танца.

Как-то я уже упоминал Сергея Владимировича Маркова. Десять лет он прожил на Командорах в качестве биолога, наезжает сюда и в последние годы. Мало того, сейчас здесь работают инспекторами рыбоохраны в известном роде его вчерашние воспитанники Николай Мымрин и Юрий Муляр: будучи студентами охотоведческого факультета, они прослушали на материке курс его лекций по морскому зверобойному промыслу и по фотографии. Ныне Марков кандидат наук, автор нескольких научно-популярных книг и многих поэтических фотографий здешнего зверья, птиц... Фотоохотник он неутомимый, можно сказать, фанатичный. Надо лезть в холодную воду океана — полезет в океан (и тонул однажды, еле выплыл). Придется ради редкого кадра карабкаться на отвесную кручу — пойдет и на это. Именно на крутой скале и именно благодаря ему мне удалось сфотографировать забавную, необыкновенно фанатоватую, редко встречающуюся птичку малую конюгу (алеуты называют ее туруторкой).

Потрудились мы на славу, отсняли метра по два плёнки, и я признался Сергею Владимировичу:

— Даже не мечтал о такой удаче. Чутье у вас, что ли, какое, ведь я здесь ходил и раньше, не подозревая, какое тут диво маленькое таится.

— Да я что,— ответил Мараков,— не обо мне речь. Вот тут были когда-то у меня друзья алеуты, подлин-ные следопыты, чувствующие природу до тонкостей. Это они научили меня находить гнезда конюг. Скажем, Терентий Ладыгин — прямо тебе Монтигомо Ястреби-ный Коготь. Хоть пиши новый роман. А из молодежи — Жора Волков. Он и вовсе давно уехал с островов. Сей-час из алеутской молодежи мало кто интересуется своим краем, мало ходит своими ногами. Все больше мотоциклы ее интересуют¹.

Да, когда-то алеуты умели читать следы, общались с природой, понимали птичий и звериный язык. Мы уже знаем, что и мореходы они были хоть куда.

Сейчас, когда на островах есть хорошо оснащенные моторные и дизельные суденышки, алеуты мало-пома-

¹ Правда, прошлым летом я познакомился с чрезвычайно при-ятным, обходительным алеутом, оператором районного узла связи Геннадием Яковлевым. Он один из тех, кто решил возродить тради-ции алеутов — островных землепроходцев и следопытов. Взяв две палатки, ружьишко, немного продуктов, отправился он в глубь ост-рова любоваться его дикими красотами, постигать природу. Вслед за ним, вышагивающим неторопливо и раздумчиво, вприпрыжку бежали его собственные и соседские мальчишки и девчонки — завтрашние хозяева и хранители этой земли. Я дважды встречал веселые биваки Гены Яковлева в отдаленных бухтах Беринга, ел горбушечью уху из его вместительного котла, пил чай из закопченного «семейного» чай-ника... К слову сказать, именно Гена Яковлев совместно с русским парнем Иваном Строгановым является постановщиком алеутских танцев в клубной самодеятельности.

лу забыли свое искусство, нет уже байдар из «60 косточек, как-то втулочков, вертлюгов, замочков». Нет уже и людей, способных выходить в море на промысел кита. Опять-таки это ни к чему, ибо не вызывается жизненной необходимостью.

Впрочем, праматерь-вода по-прежнему влечет к себе алеутов. И старых, и ту же молодежь. Не потому ли сегодня алеут Сергей Венедиктович Тимонькин — капитан большого современного теплохода «Леналес»? Значит, эстафета «морского казачества» все же продолжается? Да, но на несравненно более высоком техническом уровне. Соответственно запросам времени.

Возможно, придет день, когда смелый исследователь вроде Хейердала воссоздаст еще и знаменитую алеутскую байдару и, преодолевая стремительные течения и ураганные ветры северных архипелагов, впишет не одну страницу в историю научных открытий в этой части земного шара.

Однако вернемся к Тимонькину. Я давно хотел с ним познакомиться. Попробуй напиши о человеке, пусть он даже семь раз капитан, если в руках у тебя только сухая анкетная справка! Родом с Командор. Комсомол. Совпартшкола. Служба на Красном Флоте. После демобилизации — работа на судоверфи в Петропавловске-Камчатском. Курсы гидрографов — и первый огонь, зажженный им на маяке пустынного чукотского мыса Чаплино. Один жил, как перст. Один со всем маячным хозяйством управлялся. Долго не мог привыкнуть к тяжелому скрежету льдов по ночам. А потом в ближнее село приехали две юные учительницы-хетагуровки — тоже первые, как и он, чтобы зажечь на этой настуженной земле свой огонь — огонь знаний. Вскоре одна из них стала его женой.

Но эти подробности я узнал уже года два спустя,

когда заглянул к Сергею Венедиктовичу в Петропавловске на «огонек».

Первой же нашей встрече поспособствовало редкое, можно сказать, исключительное обстоятельство: теплоход «Леналес» получил задание доставить на остров Беринга уголь. Повезло Сергею Венедиктовичу! Он был в отпуске, лечился в Трускавце. И тут телеграмма: «Леналес» идет на Командоры. А на родине он не был с 1959 года. Плюнул на все процедуры, скорее на самолет... Тем более что вовсе не одно и то же просто так навестить родственников или прийти к родным берегам на красавце лесовозе, да еще будучи на нем капитаном. Пусть посмотрят земляки-алеуты, пусть поражаются за него...

Я ожидал увидеть крупного солидного мужчину, но нет, как и все алеуты, Сергей Венедиктович скорее низкоросл, коренаст...

Приглашает садиться, и я мельком читаю на столе бланк радиограммы: «Ваш вызов принимаем включаемся соревнование досрочную обработку судна. Райком партии райисполком зверокомбинат».

Рассматриваю салон. На встроеном в панель стеллаже несколько справочников и учебников, томик новелл Анатоля Франса, только что появившийся в продаже роман «Отсюда и в вечность» Джеймса Джонса. В глубине салона, за отодвинутой шторкой, видна каюта: над кроватью цветная фотография «целующихся» пингвинов, поверх одеяла лежит мандолина с искусной инкрустацией на деке. Не берусь судить по этим, быть может, малохарактерным приметам о каких-то душевных качествах Сергея Венедиктовича, и все же они мне кое-что говорят. Они как бы слегка приоткрывают завесу над тем сложным и труднопостижимым, что в обиходе принято называть внутренним миром человека.

На стеклянной полке в изящно-строгой рамке фотография средних лет женщины с лицом, я бы сказал, вдохновенно простым и вдохновенно красивым: короткая, тщательно уложенная прическа, прямой взгляд ясных глаз, затененных ресницами, прямой нос, чуть упрямо выдается нижняя губа, нитка белых бус на глухом сером платье. Подавляю соблазн спросить, кто она...

Не по душе мне такие вот заранее подготовленные, по-журналистски торопливые встречи. Не сразу найдешь нужный ключ к разговору, какая-то скованность, любовые вопросы:

— За что все-таки орден Трудового Красного Знамени у вас?

Ничего, оказывается, выдающегося. Замещал на «Камчатсклесе» капитана, убывшего в отпуск, ну и добился значительного перевыполнения плана перевозок, экономии...

— А где бывали за все эти годы, в каких портах и странах?

О, где бывал! Куда пошлют, туда и идешь. Не обязательно с лесом (это чаще всего в Японию). Рыбакам в Бристольском заливе нужна бочкотара и соль — значит, идешь к берегам Аляски. В ГДР нужно взять сульфат — стало быть, потопали в ГДР по всем океанам. Бывал в Адене, в Сингапуре, в портах Китая...

И встречный вопрос: а судно наше вы уже осматрели? Нет?

Сергей Венедиктович срывается с места, — именно срывается, — у него упругая походка, молодой порыв. А ведь ему уже 54 года!

Спускаемся в нижние этажи лесовоза, который воистину огромен, как тут не гордиться, — в машинное отделение, к шатунам и поршням, где все сверкает на-

драенной медью, белизной кафеля, голубой матовостью щитков управления. Сыплются цифры, которые, правда, мало что мне говорят: такое-то водоизмещение, такая-то скорость, но ее можно увеличить за счет того-то и того-то. Взгляните-ка, здесь проходит гребной вал — прямо под нами...

Попутно Сергей Венедиктович знакомит меня с механиками и мотористами, иногда уважительно добавляя к фамилии:

— Ветеран. На «Леналесе» с самого перегона из Финляндии.

Беглый осмотр заканчиваем в просторной кают-компании. Опять во встроенном стеклянном шкафчике фотография той самой женщины. Рядом задрапированное кумачовым бантом горлышко бутылки из-под советского шампанского. Горлышко, оставшееся у женщины в руке, когда она ударила бутылкой по форштевню «Леналеса». Таков всем известный ритуал перед спуском корабля на воду. На медной табличке выгравировано его «метрическое свидетельство»:

ЛЕСОВОЗ «ЛЕНАЛЕС»

спуск на воду 3.07.64 г.

крёстная мать

АНН-МАЙ ХЕЛПИЁ

а/о ууденкаупунгин

телакка

Теперь все понятно. Эта строголицая женщина с ясными серыми глазами — «крестная мать» судна, его добрый ангел-хранитель. Собственно говоря, она жена владельца финского судостроительного предприятия, и ей дарована честь провожать от его причалов каждое

«новорожденное» судно. Взмахнуть рукой с приветом и надеждой: у них впереди многотрудная жизнь, соленые волны — не брызги шампанского.

Уже в салоне Сергей Венедиктович неожиданно говорит:

— Тут мне друзья принесли с берега юколы, специально попросил. Ну, я заперся на ключ, чтобы из капитанской каюты, так сказать, душком не шибало, и давай лакомиться! Верите, жажда какая-то на все, что еще с младенчества помнится,— на ракушек, вот ежей морских сырых сразу с десятка утром съел, то есть икры ихней...

Он и меня угощает юколой, и я грызу копченого, основательно припахивающего, со сладкой горчинкой лосося, в котором ни щепотки соли. Ничего, вполне съедобно, хотя и непривычно без соли. А рыбу с душком я даже люблю, приучили на Камчатке. Грызу и слушаю рассказ Сергея Венедиктовича о его детстве, прошедшем на острове Медном. Он еще помнит жилища-бараборы с дырой сверху. В селах барабор уже не было, а на охотничьих ухожах в Жировой и Гладковской бухтах остались. Внизу, под дырой, размещался очаг. Чтобы вылезть из бараборы, нужно было вдохнуть побольше воздуха, потому что сверху, в лазу, скапливался весь дым от очага.

Уже тогда мечтал он о море, о дальних плаваниях! Схватит на берегу ржавый обруч от разошедшейся бочки и ну крутить его вроде штурвала, да еще припевая:

Капитан, капитан,
Сегодня здесь, завтра там —
И мне не страшно,
Трам-тарарам-та-там!

Какой огромный путь прошел этот трудолюбивый алеут с добрым и мягким, совсем не волевым лицом!

Путь от дымной бараборы дедов и прадедов до прекрасной каюты на новейшем лесовозе. Трудный путь. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой — вплоть до капитанского мостика. От ржавого обруча до настоящего штурвала.

— Вы ведь, кажется, и на войне побывали? От Сталинграда до Берлина, я слышал, прошли? Как же вам удалось? Ведь алеуты в те годы, по-моему, в армии не служили?

— А я добровольно. Сколько раз заявление писал — все отказывали. Но когда ночью пришла повестка — страшновато стало. — Улыбка трогает лицо Сергея Венедиктовича. — А что ж, стрелком я был приличным. Кто его знает, — может, охота на бакланов помогла. Бывало, в детстве схватишь ружьишко — и на берег. Баклан нырнет, а я в это время перебежками ближе, ближе. Он, значит, под водой, а я по берегу. Так и подкрадешься на верный выстрел. Ну а потом тушку волной подгонит.

На боевом счету Сергея Венедиктовича — ночной поиск, в котором удалось захватить «языка» — офицера — танкиста, важную шишку... Медаль «За отвагу» — как раз за ту вылазку. Орден Красной Звезды? Нет, орден позже дали, за другое... И в плену Сергей Венедиктович побывал — к счастью, всего сутки: чуть стемнело, полетел кубарем под насыпь, по которой гнали колонну, сбежал. В районе Николаева это случилось. Стреляли вдогонку, но темно — ни одна пуля не задела. Потом он в воронку свалился — пусть стреляют. Маскировочку себе обеспечил и до утра просидел. А утром наши танки пошли...

Пора уходить: отвлекаю я капитана, у него и без меня забот. Без конца подчиненные тормозят — спрашивают, уточняют, советуются. Тут как раз с берега на-

грянула делегация. Все земляки. Надо уделить с полчаса, а как же...

...Совсем недавно я снова повстречал Тимонькина в Никольском — на этот раз в доме у Василия Андреевича Дергунова. Хозяин и гость в непринужденной беседе вспоминали общих знакомых, эпизоды совместного прошлого, и меня это озадачило: словно давние друзья.

Позже Дергунов объяснил мне:

— Как же не друзья: когда-то Тимонькин был капитаном на морском буксире «Изыльметьеве», а я у него в механиках ходил. Нам есть что вспомнить. И вообще Сергей Венедиктович — это душа-человек.

Быть может, биография для алеута не совсем обычная. Хотя почему же? Алеутам, занимавшимся в прошлом чаще всего зверобойным промыслом, знаком сейчас не только труд промысловиков, но и всякая другая работа: строителей, механизаторов, полеводов, зоотехников.

Добрая слава на Командорах о чете Сушковых: Сергей Илларионович — председатель Алеутского райисполкома, Ксения Михайловна — опытейшая медицинская сестра, заботливая няня. Еще до войны она первой из алеуток окончила училище и добрый десяток лет олицетворяла на Медном всю медицинскую службу, замещая всех врачей, в том числе и хирурга. Ксения Михайловна — кавалер ордена «Знак Почета».

Первая студентка-алеутка... А сейчас учатся многие. Стопроцентная грамотность. Учатся дома (средняя школа-интернат, детская музыкальная школа, три библиотеки). Поступают в техникумы и вузы. Свои учителя, свои медики, свои капитаны. Латыш по отцу, алеут по матери Эрик Гребзде — научный сотрудник Камчатского института вулканологии. Врач Луиза Николаевна

Мулина заведует районной больницей. Борис Тютерев сочиняет музыку: его «Командорский вальс», в этих краях довольно популярный, звучал и со сцены Кремлевского театра.

Не могу не сказать о работающем в райисполкоме образованном, интеллигентном, как видно, много читающем Николае Николаевиче Добрынине. Он чаще других интересуется обычно, как подвигается у меня работа над книгой.

— Понимаю ваши затруднения, — сочувствует он. — Ведь, как я представляю, вы хотите написать в своем роде обзорную книгу — с отступлениями в историю открытия островов, в историю нашего брата алеута, с картинами сегодняшней жизни, с подробностями быта, — так ведь? Да еще котики, да каланы, вся наша природа... Наверно, нелегкая задачка свести все это вместе. Но вы уж давайте постарайтесь. Будем ждать.

Один художник, в течение многих лет приезжающих на Командоры, сказал мне как-то:

— Теперешних алеутов не узнать. Раньше у них в глазах неосмысленное что-то было, зрачок расплывчатый. Ну, допускаю, что это у меня чисто профессиональное наблюдение. Бывало, ляжет этакий парнишечка где-нибудь под кочкой, кочку сдернет, если моросит, прикроется ею и пролежит хоть весь день, знаете ли. Хоть сутки. Как рыба в воде, так и он в тундре. А вот нынешняя молодежь — уже не та: у нее **взгляд** появился. Она, знаете ли, целеустремленная.

Вот этот-то «расплывчатый зрачок», отсутствие «взгляда» я подсознательно ощущал у героев книги Теда Бенка II. Прибитость и приниженность сквозили в их поведении, и автор пишет об этом с болью.

Не скажу, как там сейчас с алеутами в Америке (книга Теда Бенка написана еще в 1946 году), но индей-

цы в резервациях, и об этом знает весь мир. В негров стреляют на улицах, негров линчуют, в стране хваленной демократии и пресловутых буржуазных свобод неграм нечем дышать. Если же палка расовой нетерпимости ударит сегодня по негру или индейцу, она всегда, в любой час может опуститься и на алеута.

А перед капитаном-алеутом, чей корабль осенен советским красным флагом, приподымают козырьки форменных фуражек во всех портах мира.

БУМАГИ,
НАЙДЕННЫЕ В ДОМИКЕ ТИНРО



В районном музее, любовно опекаемом Евдокией Георгиевной Поповой, мое внимание привлекла старинная подзорная труба в кожаном чехольчике. Она напомнила мне другую трубу, почти такую же, но без чехла и с расколотой линзой. Несколько лет назад я наблюдал в нее за котиками на Северном лежбище. Из-за поврежденной линзы лежбище воспринималось как груда цветных обломков, как пестрая россыпь мозаичных плиток. Это казалось забавным, тем более, что каждого котика окружал радужный ореол.

Труба имела свою историю. Нет, нет, она не связана, допустим, с именем адмирала Нельсона и не сопровождала его в битвах в Абкиирском заливе или у Трафальгара. Хотя «опознавательные знаки», оттиснутые на ее мятых медных боках, и воспринимались мною как анахронизм:

"Poval mail"
Negretti Zambra
London
№ 1633
Hirsbrunner Co
Shanghai

Еще ниже был вытиснен столбик иероглифов.

Как она попала на котиковое лежбище острова Беринга? Кто был ее хозяином раньше?

Почти полвека назад, в начале двадцатых годов,

она находилась в рубке японской хищнической шхуны. Наблюдали в нее не только за горизонтом, чтобы на рифы не налететь, но и за чужими котиковыми лежбищами. Берега Командор давно привлекали завистливые взоры хищников. И не всегда это были одни только японцы.

Вот несколько иллюстраций исторического порядка.

Промысел морского котика известен со второй половины XVIII столетия. В сыром виде котиковые шкурки сбывались почти исключительно на кантонском рынке, где они служили предметом обмена на чай, художественные изделия из кости, шелк. Но в то время поступления шкур на кантонский рынок шли преимущественно из вод Южного полушария, где обитали миллионные стада котиков. Эти стада были едва ли не поголовно истреблены, и к нынешнему дню на Юге остались только одно или два стада, вряд ли представляющих коммерческий интерес.

Глядя на баснословное обогащение иностранных предпринимателей, на бурное развитие торгового капитала за границей, начали шевелиться и русские деловые, сметливые люди. Взоры их приковывал, конечно, северо-восток, где Витусом Берингом были открыты Командорские острова, а штурманом Прибыловым — острова его имени.

Созданный к тому времени флот позволил хищнически эксплуатировать природные богатства вновь открытых земель. Правда, в этот ранний период пушной промысел на Командорах производился за счет морского бобра (калана) и голубого песка. Потом начали бить и котиков, преимущественно на Прибыловых островах, да с таким рвением, настолько поспешно и безоглядно, что впоследствии (1760—1768 гг.) восемь лет кряду русские зверопромышленники не только их не добывали,

но даже понятия не имели, куда они исчезли. Но уже в 1786 году была забита огромная партия котиков на Командорах. Достаточно сказать, что только доля мехоторговца Шелихова, возглавлявшего одну из пушно-промысловых компаний, составила 18 тысяч котиковых шкур! В 1788 году эта компания получает монопольное право на эксплуатацию пушных промыслов Командорских островов, а впоследствии и Прибылова... Вскоре компания Шелихова по указу царского правительства преобразуется в Российско-Американскую компанию. Вот яркий образец ее «хозяйствования»: чтобы сохранить старые рыночные цены на котиковые шкурки, в 1803 году 700 тысяч их было попросту уничтожено!

Уже тогда раздавались негодующие голоса против такого варварства. Правда, исходили они не от лиц, участвующих в промысле и заинтересованных в прибылях от него. («Не есть ли это 700 000 непростительных убийств?» — восклицает пораженный мореплаватель Ф. Литке; несколько ранее он пишет в отчете о своем плавании: «...приволье это продолжалось недолго, благодаря безрассудному истреблению не только более, чем по естественному порядку могло возрождаться, но даже более, чем сами истребители могли использовать... По вернейшим подсчетам, вывезено с «островков» со времени открытия их по 1828 год, то есть за 42 года, более 3 миллионов котиковых шкур! Непонятно, как при таком истреблении род этих животных не совсем еще уничтожен».)

Приволье и впрямь продолжалось недолго, тем более, что промышляли чуть ли не исключительно серых котиков, то есть котиков — сеголеток, совсем еще малышей. Причем их истребляли подряд, не разбирая, где самец, а где самка. Истреблялась иногда подавляющая

часть годового приплода, что в конце концов снова привело к разорению лежбищ.

В 1867 году деятельность Российско-Американской компании прекратилась в связи с тем, что Аляска вместе с прилегающими островами (Прибыловыми, Алеутскими) была продана Соединенным Штатам за жалкие гроши. Достаточно сказать, что в сущности за каких-нибудь двадцать лет американские дельцы извлекли из приобретенных земель прибыль, в десять раз превышающую их покупную стоимость. И это еще до открытия на Аляске золота, задолго до широкого использования рыбных богатств в омывающих ее водах!

Между тем положение оставшихся под русской короной Командор ухудшилось. Привилегий, дарованных Российско-Американской компании, теперь не существовало, и от этого прежде всего пострадало население. Волна американских предпринимателей и разноплеменных темных людишек захлестнула Командорские острова!

Как тут не вспомнить Киплинга:

Японцы, британцы издалика вцепились Медведю в бока,
Много их, но наглей других — воровская янки рука.

Профессор Суворов в своей обстоятельной книге пишет об этом смутном времени в жизни острова: «Соперничая между собою, торговцы стремились переманивать на свою сторону алеутов-промышленников. Спиртился рекой... Промысел поднялся до необычайных размеров».

И конечно, опять били котиков, не различая ни пола, ни возраста.

Наконец царское правительство спохватилось и решило, что выгодней будет сдать острова в аренду, чем просто так, за здорово живешь, их богатства будут

расхищаться кем попало. Оно заключило с американским торговым домом «Гутчинсон Кооль и К°» убыточный кабальный договор на двадцать лет. Объяснялось это и тем отчасти, что никто в Петербурге толком не представлял, что такое Командоры, как обстоят дела с пушными промыслами и какой можно от них ожидать прибыли. Отныне «Гутчинсон Кооль» единолично эксплуатировал пушные промыслы и насаждал здесь свои порядки, устанавливал по произволу самые выгодные для себя цены. А поскольку все поставки продуктов и промышленных товаров на островах тоже зависели от этого торгового дома, можно себе представить, как беззастенчиво он обогащался.

Впрочем, только неведением иных авторов можно объяснить необоснованные нападки на методы ведения торговым домом промысла котиков, песцов и т. д. Нет, поначалу он вел промысел по-американски деловито и разумно, думая о будущем. По крайней мере, куда умней, чем его подчас вела Российско-Американская компания. Американцы постарались упорядочить промысел, бить одних только взрослых холостяков и только на холостяковых залежках, не тревожа гаремных зверей. Результаты не замедлили сказаться, стадо начало расти, что в свою очередь позволило американцам в последующие годы увеличить добычу пушнины. Но поступали они так не в силу озабоченности о сохранении чужого добра, не из желания оставить по себе добрую память и наконец не потому, что их и впрямь беспокоило будущее командорского котикового стада. Отнюдь нет. Они прежде всего блюли собственные интересы, рассчитывая, что русское правительство продлит срок договора с ними.

Хищническая природа торгового дома «Гутчинсон Кооль и К°» сказалась в полной мере, когда стало ясно,

что договор продлен не будет. Тогда-то, в последний договорный год, компания произвела опустошительный забой в котиковом стаде. Так называемое «Русское товарищество котиковых промыслов», которому Командоры были сданы в аренду в 1891 году, поневоле, ввиду истощения лежбищ, било котиков в три-пять раз меньше, чем американцы.

Мало того: американская компания в целях усиления своего, прибыловского, стада заключила соглашение с Англией о прекращении морского промысла в восточной части Тихого океана. И все промысловые шхуны из восточной части Берингова моря и Тихого океана под всеми парусами понеслись к Командорам, Курилам и острову Тюленьему у Сахалина и обрушились на обитающих там котиков. Преимущественно это были шхуны канадские, американские, к ним вскоре присоединились и японские. Большую часть добычи в этих краях составляли самки.

Да, поначалу русские промышленники, а впоследствии американские арендаторы и бесчисленные своры пиратских шхун немало приложили усилий, чтобы истребить ценные породы пушнопромыслового зверя как на Командорских островах, так и вблизи их. Подумать только, что огромное некогда стадо морского котика в 1911 году едва ли превышало на Командорах 9 тысяч голов!

После вышеназванного «Товарищества котиковых промыслов» острова до самой революции арендовали и другие русские торговые дома, но истребление котиков на путях миграции приняло такие размеры, что нечего было и думать о сколько-нибудь значительном восстановлении поголовья командорского стада. Да никто всерьез об этом и не думал. Все новые и новые торговые дома, как ни оценивай их деятельность, заботились

прежде всего о том, чтобы набить потуже собственный карман. Хорошо об этом сказал Плеханов в ответ на псевдопатриотические вопли отечественной буржуазии: ай-яй-яй, американцы грабят наше добро, не пора ли отдать морские промыслы «исключительно в русские руки». У Плеханова подход к подобным взрывам демагогии, конечно, по-марксистски точный: «Недогадливые люди и в этом случае скажут, пожалуй, что местному населению все равно, кто станет обирать и развращать его, русские или американцы,— писал он во «Внутреннем обозрении».— Но теперь уж никто не слушает недогадливых людей, и котиковые промыслы у Командорских островов, наверное, будут переданы «исключительно в русские руки», которые займутся там наполнением исключительно русских буржуазных карманов».

Дальнейшие события подтвердили безусловную правоту слов Плеханова.

Наконец пришло время, когда и следа не осталось от последнего торгового дома (И. Я. Чурина), кроме, впрочем, заботливо взятой командорцами на учет столовой и кухонной посуды, камина «Монитор», осветительных ламп с самыми неожиданными названиями («Чудо», «Триумф», «Эскулап», даже некоего «профессора Домберга»). Пришло время, когда благодаря энергичным мерам наших звероводов, благодаря чуть ли не полному сокращению забоя котиков их численность к семидесятым годам нашего века резко возросла. Резко, но далеко не сразу. Впрочем, было бы чересчур поспешным и неверным утверждать, что сейчас установилось некое идеальное равновесие между ростом стада и потребностями промысла. Думаю, такого равновесия и не будет никогда. Биологам есть над чем поломать голову и ныне, когда на лежбищах наметилась тенденция к некото-

рому уменьшению секачей-производителей. Временная ли это депрессия или нечто более тревожное, пока судить трудно. Ясно одно: где-то допущен просчет, возможно — даны неточные рекомендации. Однако не приходится сомневаться, что командорцы справятся с возникшими трудностями и стаду захиреть не дадут. Не тот случай. Не те ныне порядки на островах.

Мне никогда раньше не приходилось работать в архивах, подтверждать свои догадки и предположения точными документами, ссылками на еще неизвестные читателю факты. Разных отчетных цифр, бумажек с подписями и печатями я откровенно сторонился: казалось, они могут сковать воображение, лишить свободы выбора. Но, правда, тогда, в 1959 году, мне еще был неведом вкус к очерку, к литературе факта, не томило желание написать об увиденном и узнанном без всяческих беллетристических ухищрений. И когда зоотехник зверокомбината предложил сходить с ним в домик ТИНРО (Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии), я пошел туда вовсе не потому, что надеялся найти там какие-нибудь сведения и отчеты.

Научный сотрудник пункта (им был С. В. Мараков) уехал в отпуск. Но в домике, в ящиках на подоконниках, рос бледный лук, поливать который было поручено зоотехнику. Во время прогулок по берегу океана я уже не раз подходил сюда и старался заглянуть поверх занавесок в комнату, где на полках кучно стояли чучела птиц, торчали челюсти каких-то китообразных... Все это хотелось рассмотреть поближе, пощупать руками. В конце концов мне было передоверено поливание лука, так что я обследовал в домике все углы.

Внимание сразу привлекли какие-то бумаги, небре-

жными кипами лежавшие на полках стеллажа. Чувствовалось, что тут пахнет не очень давней, но все-таки историей. В домике было сыро, и, скажем, дневники промысловых надзирателей, помеченные 1910—1915 годами, уже покрылись плесенью. С особым интересом листал я папки с подшитыми документами примерно с 1910 года по 1930-й. В этих куцых деловых бумажках отразилась вся жизнь острова Медного (очевидно, бумаги попали сюда из медновских архивов), а косвенно и острова Беринга. В большинстве это была не бог весть какая документация: наряды на пару резиновых сапог, выданных промысловому надзирателю, заявление на внеочередной отпуск или требование на гвозди. Но уже из этих скупых строчек, написанных иной раз на гладкой бумаге английского производства, в приближенных очертаниях вырисовывался быт островов перед самой революцией, в бурные ее годы и после.

Следует отметить, что алеуты — народ достаточно «подготовленный» годами эксплуатации со стороны и русского и американского капитала, закаленный в бесконечных стычках с японскими хищниками, в какой-то мере грамотный и способный ориентироваться в обстановке, принял революцию безоговорочно. Здесь в 1920 году была создана коммунистическая организация — впервые среди малых народностей Дальнего Востока. Достаточно сказать, что в Камчатской области было две коммунистических ячейки: в Петропавловске и в селе Никольском на острове Беринга. Всего в двух ячейках стояли на учете 23 человека, из них 9 являлись командорскими коммунистами. К середине 1923 года, к моменту полного и окончательного установления на Командорах Советской власти, число коммунистов здесь возросло. В то время на острове Беринга каждый десятый был коммунистом. И, что особенно показат-

тельно, в Коммунистическую партию вступили пять женщин.

На островах многие помнят братьев-алеутов Александра и Федора¹ Волокитиных — первых руководителей ячейки. Это были люди классово непримиримые, энергичные, с задатками организаторов, пользовавшиеся авторитетом у населения.

Да это и понятно: братья были более менее образованны (Александр, окончив школу в Приморье, работал на острове фельдшером), оба неоднократно ездили на материк, следили за политической жизнью в стране и могли составить о той или иной партии свое мнение. Судя по тому, что они первыми на острове вступили в коммунистическую ячейку, классовое чутье их не подвело.

В годы гражданской войны политическая обстановка на Дальнем Востоке подчас настолько усложнялась, что в ней нелегко было разобраться. Что же касается Командор, здесь о новой власти на Камчатке узнавали иногда лишь после того, как на смену ей приходила другая: только в навигацию сюда изредка навевывались корабли, которые сообщали свежие вести и высаживали на берег то представителей колчаковского «правительства», то «правительства фабриканта Спиридона Меркулова», а то и карателей известного на Дальнем Востоке своей жестокостью есаула Бочкарева...

14 мая 1922 года на остров Беринга приехал уполномоченный меркуловцами некто Сусяк в сопровождении представителя японской фирмы «Нихон Моохи» и военного отряда. «...Выяснилось,— писал Сусяк в от-

¹ Любопытно отметить, что Федор Волокитин впоследствии был первым редактором основанной в 1935 году газеты «Алеутская звезда», избирался он и секретарем Алеутского райкома партии.

чете своему начальству,— что жители признают себя вполне автономными по отношению к Камчатской области (Петропавловск тогда был захвачен белыми.— Л. П.) и даже ко всей России, никаких властей они не признают, богатства же острова считают своей собственностью и полагают, что контроля по эксплуатации этих богатств никакого не нужно. В общем доклад помощника заведующего промыслами произвел на меня гнетущее впечатление. Вскоре на квартиру к заведующему пришел представитель комитета и сказал мне, что общество собралось на сход. Придя на сход в сельское управление, я убедился в справедливости доклада помощника заведующего промыслами потому, что на видном месте в управлении увидел портрет Ленина. Информировав сход о том, какая власть установилась на Дальнем Востоке и в Камчатском крае, я решительно потребовал от них реорганизации управления и изъятия после моего ухода из управления портрета Ленина».

Кандидат исторических наук Б. Мухачев, восстановивший по архивным материалам и рассказам очевидцев события тех лет, сообщает в своем очерке «Октябрь на Командорах», что хотя местный нарревком и подчинился приказу Сусляка об очередной реорганизации местной власти по установлению меркуловцев, однако и сходом при этом руководили коммунисты (председатель С. И. Яковлев, секретарь — один из братьев Волокитиных), и в состав вновь организованного сельского управления тоже вошли коммунисты. Тогда-то и была снаряжена из Петропавловска карательная группа, вышедшая на острова в августе 1922 года. Белогвардейцам было дано задание арестовать и ликвидировать коммунистов на острове Беринга.

Но случилась маленькая промашка. На одном с бочкаревыми пароходе домой добирались уполномочен-

ный Никольского сельского общества коммунист Т. А. Ладыгин (но каратели об этом не подозревали) и молодой активист из алеутов Антон Паньков (по некоторым документам — Иван Паньков).

Каратели не стеснялись свидетелей, а может, считали их своими единомышленниками и в море жестоко расправились с арестованными в Петропавловске сторонниками Советской власти. Над ними всячески издевались, подвергали их пыткам, а потом убили ударами молота по голове и сбросили с парохода. Это была обычная практика бочкаревых, получившая на их языке название «толкового зрелища».

Видимо, бочкаревы не имели сведений о том, кто именно состоит в коммунистической ячейке села Никольского. Они стали выпрашивать об этом у Панькова. Парень года два не был на острове и ничего толком не знал. Однако даже если бы знал, бочкаревы ничего от него не добились бы. Паньков догадывался, что теперь, после допроса, ему не позволят сойти на берег, и написал отцу записку по-алеутски — белые-де готовят над коммунистами расправу. Записку он передал одному из сходявших пассажиров, но во время обыска ее обнаружили. Паньков вынужден был признаться, что записку написал он, и по требованию бочкаревых перевел содержание, конечно, изменив его. Тогда бочкаревы предложили Ладыгину перевести записку. Он тоже перевел ее неверно, но не так, как Паньков. Бочкаревы заподозрили неладное, однако Ладыгина отпустили. Панькова же стали избивать железными прутьями, добиваясь правдивого ответа. Но он молчал.

Между тем Ладыгин сообщил Федору Волокитину — заместителю председателя коммунистической ячейки, секретарю сельского управления — и о зверской рас-

праве бочкаревых над людьми, сочувствующими Советской власти, и о том, для чего они сюда пожаловали.

Воспользовавшись оплошностью вахтенного и захватив в сумерках шлюпку, сумел бежать с парохода и Антон Паньков. Он тоже предупредил коммунистов о готовящемся злодеянии.

С рассветом все коммунисты села, надежно спрятав партийные документы, забрав из склада оружие и патроны, ушли на озеро Саранное. На подступах к озеру, а также со стороны моря (на случай высадки бочкаревыми десанта) были выставлены усиленные караулы. Причем в караулах находились и беспартийные («...было высказано всеми, что лучше умереть, защищаясь, чем попасть в руки бандитов»). Но, храбрые на пароходе, в селеньице Саранное бочкаревы сунуться не решились. Правда, они пошли на Медный, забрали там катер «Сивуч», на котором была установлена пушка, рассчитывая как можно ближе подойти к Саранному со стороны моря и пушечным обстрелом вынудить коммунистов сдаться. Плохая погода, однако, помешала им осуществить это намерение. И бочкаревы ушли от Командор ни с чем.

Месяцем позже японцы доставили из Владивостока нового начальника пушных промыслов Колтановского. Поскольку коммунисты, опасаясь репрессий, опять ушли на Саранное, Колтановский поспешил сообщить, что их опасения напрасны: белогвардейцам пока не до них. Однако тот же Колтановский заявил на сельском сходе, что он будет восстанавливать на островах «власть и законы старого времени». Между прочим, он привез с собой много спирта, которым торговал в зимнее время с крыльца своей квартиры. Большую же часть продуктов, доставленных тем же японским паро-

ходом, он поделил со своим помощником («...а остальное ничтожное» количество давали жителям...»)

Позже председатель Никольского ревкома А. Волокитин писал на Камчатку, требуя смещения Колтановского: «От такого доклада мы абсолютно ничего не могли ожидать хорошего. Приходилось мириться с положением дел, но чистейшая искра надежды на освобождение от своры деспотизма не могла угаснуть в нас, она одна поддерживала нас».

«Своре деспотизма», равно как и законам старого времени, оставалось уже недолго существовать даже на столь отдаленных окраинах.

Я рассказал о наиболее драматическом эпизоде времен гражданской войны, разыгравшемся на Командорах. Он весьма характерен как свидетельство сплоченности и стойкости командорских коммунистов перед лицом переменчивых событий тех лет.

Между тем гражданская война продолжалась, на Дальнем Востоке еще хозяйничали японцы, хищничество, являвшееся страшным бичом котиковых стад как на лежбищах, так и на путях миграции, процветало. Судя по бумагам, оказавшимся волею случая в моих руках, бороться с ним пришлось довольно долго.

Очевидно, есть смысл отдельные документы привести здесь либо полностью, либо дать выдержки из них. Тем более что ныне уже не существует домика ТИНРО (его снесли) и, что гораздо хуже, исчезли куда-то все чрезвычайно ценные для историка бумаги, находившиеся там. Итак, острова были почти беззащитны. Достаточно сказать, что охрана лежбищ была вооружена дряхлыми кавалерийскими винтовками с прицелом для тупоконечных пуль. Да и то около двадцати пяти винтовок были неисправны. Имелось еще несколько револьверов системы «Смит и Вессон», а на охранном ка-

тере «Сивуч» были установлены 37-миллиметровая пушка Гочкиса и допотопная медная гаубица, непригодная для целей охраны. Разумеется, это устаревшее оружие не могло испугать хищников, что и приводило к тому нахальству, с которым они среди бела дня производили набеги на лежбища. Не мог соперничать с быстроходными маневренными шхунами и катер «Сивуч», конфискованный у японцев в 1917 году. Он был оснащен изношенным пятнадцатисильным болиндеровским мотором и ход развивал всего лишь до пяти узлов.

В те годы иностранные фирмы наперебой предлагали свои услуги в снабжении островов товарами и продовольствием — разумеется, в счет пушнины. На этом можно было здорово заработать! Конкурировали между собой японская фирма Цуцуми, английская «Гудзон-Бей» («Компания Гудзонова залива»), американская — «Сайденберг и Виттенберг». Бесценная пушнина Командор дразнила воображение империалистов, распалая их алчность.

И уж конечно, не дремали японцы. Их броненосец «Ивами» нагло вторгся в русские территориальные воды (тогда, в 1921 году, на Командорах и Камчатке были установлены Советы). Незванным гостям предложили убраться восвояси, тем более, что они нарушали международную конвенцию по охране котиков. Неподалеку стоял охранный корабль «Адмирал Завойко»¹, и японцы вынуждены были удалиться, — однако лишь пока наш корабль не оставил воды острова; потом японцы вновь высадились на берегу.

Они льстиво заверяли алеутов, что всегда готовы

¹ На нем находился уполномоченный ЦК и Дальбюро ЦК РКП(б) А. С. Якум — ныне персональный пенсионер союзного значения.

выручить их из беды, помочь продуктами, одеждой,— острова-де русскими плохо снабжаются, у населения неприглядный вид... Причем они действительно выгрузили— за плату— некоторые промышленные товары и— бесплатно— спирт. Спирта не пожалели, лишь бы только убедить алеутов в необходимости просить у Японии помощи.

Прошла угарная пьянка, и коммунисты уговорили население отказаться от японских «подарков», разъяснив, чем это может кончиться. Да и свежо было в памяти недавнее предостережение А. С. Якума— японская военщина готова на всякого рода провокации, подкуп и шантаж. Он призывал командорцев к революционной бдительности. В результате партийное собрание приняло решение известить непрошенных гостей, что алеуты не нуждаются в их подачках— и пусть забирают свои товары обратно.

Броненосец вынужден был уйти из островных вод, предварительно телеграфировав своему консулу о провале этой «дипломатической» акции.

Впрочем, японская военщина иной раз налетала на Командоры, не прибегая ни к какой демагогии, а просто с целью неприкрытого грабежа, и располагалась как у себя дома. Летом 1922 года до полусотни офицеров и матросов с крейсера «Ниитаки» и транспорта «Канто» съехали на берег. В Никольском они занялись мелочной торговлей. Брали шкурки голубых песцов, а расплачивались недоброкачественным спиртом и грошовыми ситцами. От спирта через день скончались старик и две молодые женщины-алеутки. Не могло быть и речи о том, чтобы конфисковать скупленную пушнину: полсотни наглых вооруженных офицеров и матросов и стоявший на рейде крейсер были внушительной силой.

В следующем году из Съетля вышла шхуна Свенсона «Чукотск». Предупреждающая телеграмма Камчатского облнарревкома — и Командоры уже настороже. Дело в том, что Олафа Свенсона, известного на Дальнем Востоке американца-пушнозаготовителя, не брезгающего скрытным хищничеством (если уж не прямым разбоем, подобно японцам), знали и здесь. Опытный и хитрый предприниматель был, конечно, в курсе всех командорских затруднений военной и послевоенной поры. Да и не только командорских: этому старому морскому волку были прекрасно известны как природные богатства, так и нужды всего нашего Северо-Востока. Он играл и спекулировал на этом. Так, еще раньше, в августе 1921 года, он телеграфировал Камчатскому облнарревкому: «Прошу срочно сообщить количество непроданной пушнины. Приеду Петропавловск предложу наивысшую цену. Могу снабдить острова».

За неимением выбора, облнарревком принял его предложение: Свенсон направил на Командоры пароход «Тунгус» с углем, дровами и продовольствием. Чуть к власти пришли меркуловцы — он уже в контакте с ними. Именно с их разрешения он привез на Чукотку и охотские промыслы золотопромысловые машины. Торговал здесь спиртом и стрихнином. В обмен на пушнину доставлял белобандиту Бочкареву винчестеры, автоматические пистолеты и патроны к ним.

Нет, нет, уж теперь-то на Командорах Свенсону делать нечего! Не те времена.

Но в большинстве случаев о подозрительных судах никто Командоры не оповещал. Тут уж надо было самим следить недреманным оком, держа палец на спусковом крючке.

Шли годы, и не то чтобы случаи пиратских набегов уменьшились или участились, — с ними сложнее стало

бороться. И вот почему: появились арендаторы, или, как их еще называют, концессионеры. Заручившись документами наших соответствующих организаций, они ловили треску и другую рыбу в опасной близости от котиковых и бобровых лежбищ.

О наглом наплыве хищников именно в те районы, где можно было кое-чем пожить, кроме трески, могут свидетельствовать красноречивые строчки отчета лишь за один месяц 1927 года:

«17 июня... к юго-востоку от Арьега Камня была замечена японская парусная шхуна «Эйтоку-Мару» с восемнадцатью человеками рабочих и восемью человеками экипажа... По проверке документов шхуна эта оказалась принадлежащей арендатору Люри, уполномоченному производить опытный лов трески и палтуса в наших водах согласно удостоверению Дальрыбы № 4952...

В тот же день... в двух милях к северо-востоку от лежбища была обнаружена вторая подобная шхуна «Миосима-Мару» с такой же численностью экипажа и четырнадцатью рабочими. Шхуна эта, стоя на якоре, занималась ловом трески. После осмотра... ей было предложено немедленно покинуть район лежбища, отмечены были на карте запретные для лова районы.

24 июня... встретили... третью шхуну Люри — базу «Осима-Мару», на которой находился управляющий опытными промыслами Люри т. Навозов-Лавров...

...Наличие документов центра, дающих право лова в наших водах, — с одной стороны, и интересы котикобобрового хозяйствования, диктовавшие необходимость запрета такого лова, — с другой, ставили нас в затруднительное положение.

...По нашему запросу от Дальгосторга была получена телеграмма: «Лову трески не препятствуйте условия

полной гарантии беспокойства котиков вашу личную ответственность в противном случае предложите покинуть воды». Но еще ранее Навозову-Лаврову было предложено покинуть наши воды, так как хотя лов в указанных районах никакого вреда и не причинял нашим котикам, тем не менее присутствие шхун было нежелательным.

13 июля, получив сведения о появлении в наших водах новых двух японских шхун, катер... был отправлен в охранный рейс. Одна из этих шхун, «Цусима-Мару», была застигнута в районе... Старой Гавани, где она под командой капитана Нанано Майцо... расположилась по соседству со шхунами Люри, занимаясь ловлей трески. При осмотре шхуны в трюме оказался запас соли в 1500 пудов, засоленная треска в количестве 5000 штук и ставная сеть с ячейей в три дюйма. Никаких документов, кроме судового свидетельства на японском языке, на шхуне не было. Имея в виду распоряжение центра... пришлось ограничиться одним предложением покинуть наши воды и составлением протокола. Другую хищническую шхуну, замеченную в тот же день, задержать не удалось. В отгон холостяков на о. Медном... был захвачен один холостяк со свежим ранением картечью — явление это, безусловно, имеет самую тесную связь с наличием всех этих шхун».

Словом, обстановка требовала от островитян осмотрительности, сдержанности и определенного политического чутья.

Конечно, наша страна в состоянии была дать отпор агрессору (вспомним хотя бы конфликт на КВЖД), но и осложнять отношения с другими государствами она не хотела. И тут, на Командорах, все это хорошо понимали. Об этом, например, говорит такой немногословный документ:

«Промысловым надзирателям о-ва Медного.

27 мая 1930 г.

В дополнение к караульному уставу препровождаю... для руководства и выполнения инструкцию о правилах обращения караулов при охране острова с иностранными судами и иностранцами, могущими прибыть на Медный. Одновременно ставлю Вас в известность, что существующая в настоящее время натянутая международная обстановка, когда капиталистический мир ищет разных придирок к Советскому Союзу, заставляет нас быть крайне осторожными при обращении с иностранцами в момент пребывания их в наших водах. Поэтому еще раз подчеркиваю, что в случае обнаружения в районе острова иностранного корабля действия караула должны быть строго тактичны. Нужно помнить, что всякое не обдуманное со стороны караула действие повлечет за собой массу неприятностей.

Помначкомпромыслов на о. Медном
Выломов».

Полезно, возвратившись на несколько лет назад, проследить по документам островной быт той нелегкой поры. Итак, 24 июня 1923 года на Медный пришел военный корабль «Красный вымпел» (бывший «Адмирал Завойко»). На берег сошли уполномоченный ОГПУ Лузгачев, военком Курашев и другие. Было созвано общее собрание граждан острова Медного. По этому случаю в тот же день местная администрация составила любопытную «Памятку». В ней говорилось, что на собрании «...были произнесены речи. В них освещено положение в Совроссии — как трудовой народ — крестьяне и рабочие — строят свое государство, частью которого являются и Командорские острова, как трудятся и какие



Памятник Витусу Берингу в селе Никольском.



Остров Беринга. Село Николь-
ское.



Неплохой улов нерки!



После отлива. Ребятышки на-
кальвают на проволочки кам-
балу.

Добыча бывает довольно завидной.



Как только пошел уёк, все, от мала до велика, на берегу. Рыбу черпают, как из аквариума.



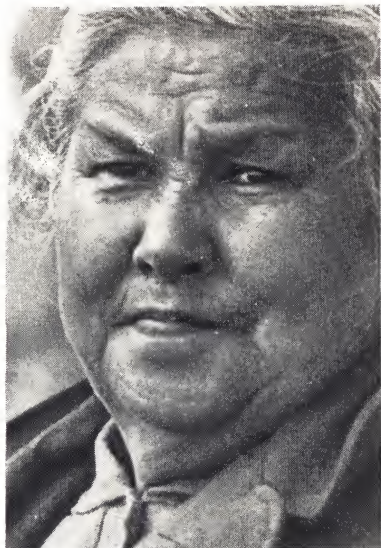


«На берегу океана мальчишки гоняют в футбол.

«Риф этот — излюбленное место ребятни. После отлива здесь много вкусных морских ежей.

Алеутка Е. Г. Попова давно на пенсии, но ее неугасающему общественному темпераменту может позавидовать и молодежь.

Из «отпуска» к родным берегам в собственном «экипаже».







По сторонам Преображенской бухты живописно высятся скалы.

✧ Мыс Кирпичный на острове Беринга. Точнее было бы мыс Наполеон.

✧ Почти каждая бухта на острове Медном славится своеобразием каменной «архитектуры».



Куропач.



Морской попугай — ипатка.

Краснолицый баклан.



Топорок в гнезде. Птица не менее забавная, чем ипатка. С кошечками.







Молоденькая нерпа.

«Топорки «на досуге».

«Наконец куропатка в объективе. Кандидат биологических наук С. В. Мараков — страстный фотоохотник.





Котики. Душно! Хотя бы дождь пошел.

✧ Тюлени-антуры. У них прелестная расцветка шкуры.

✧ Каланы (морские бобры) очень пугливы — всегда у них «ушки на макушке».





Самочка котика кормит детеныша.

Гарем (секач, самочки и «черненькие»).



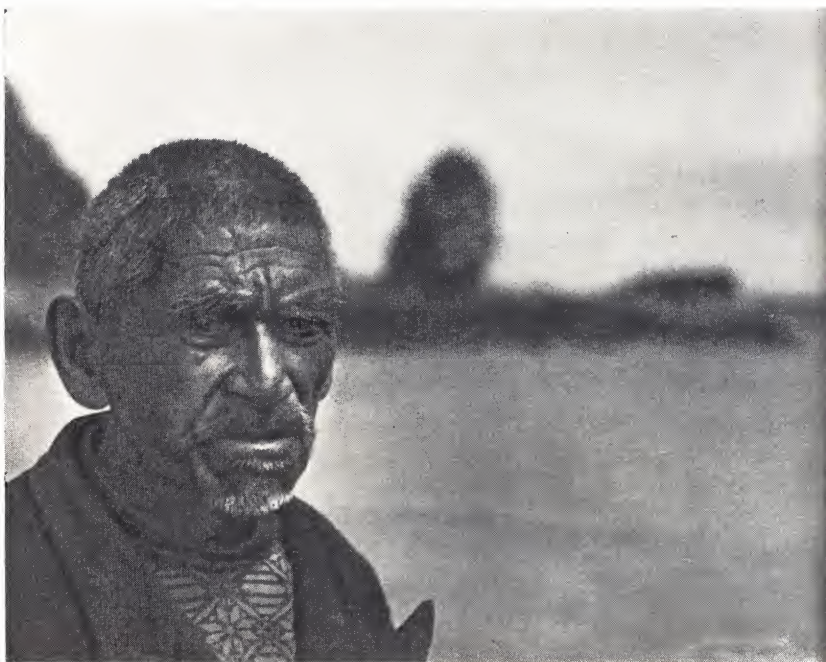
Нега (самочки котика).

Кандидат биологических наук
Петр Георгиевич Никулин.



Бригада промысловиков после
отгона котиков.





Старый алеут А. Ф. Паньков
(дедушка Паюк) — один из от-
важного племени морских ка-
заков.



Чайки.



Есть что посмотреть на берегах
Командор туристу.



Удивительное творение природы на острове Беринга — арка Стеллера (у алеутов когда-то бытовало другое ее название «Штаны Тетеринова»).



Это — командорская карликовая рябина. Однако ягоды у нее крупные.



Начало осени, а старый снег
так и не растаял. Но цветам
снег здесь не помеха.



Молодой песец.



Олени откочевали на юг острова Беринга, в глубокие долины и ущелья.



Кайры гнездятся на отвесных скалах.



Чайки-моевки.



Чайка в полете.



Приезжайте к нам на Коман-
доры.



На приемном пункте.
Проверка качества
снятых шкурок.

терпят лишения, чтобы создать себе в ближайшем будущем лучшую жизнь. Обращаясь к местной жизни, они — ораторы-комиссары — указали, что Начальник островов и все его сотрудники являются представителями Советской власти. План промыслового хозяйства и способы его проведения в жизнь так же утверждены. Что население обязано безусловно исполнять все законные распоряжения промысловой администрации надзора и беспрекословно наряжать из своей среды потребное количество рабочих сил для выполнения того или другого дела, будь то промысел, постройка, ремонт, поездка или другая работа для нужд казенного хозяйства».

Заканчивалась «Памятка» энергичным утверждением нового времени, выделенным крупными буквами: «Все должны исполнять свой долг, все должны работать, а «КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ».

Помначкомандора на о. Медном
Брытков

Председатель Медновского сельревкома
К. Юрин».

Очевидно, в то время бывало и так, что не очень-то ели и те, кто безусловно работал. Правда, выручали птицы — известно, что их годовой промысел иногда достигал по одному только острову Беринга четырех тысяч: на питание промышляли чаек, куропаток, топорков, бакланов, глупышей, каменушек, кайр, лебедей, гусей... Особенно ощущалась нехватка промышленных товаров. Вот, к примеру, норма отпуска различных тканей, завезенных пароходом «Томск» в 1923 году. На одного мужчину пришлось семь аршин бельевого материала, четыре — некоей дрели и четыре — бумазеи. Не считая дрели и бумазеи, женщинам еще досталось

семь с половиной аршин оксфорда. Товары вроде шалей, одеял, платков, кепок, которых насчитывалось мизерно мало, распределялись по жребию.

Это в 1923 году. Но товарный голод не был устранен и позже, в 1928—1929 годах. Годовой рацион продуктов на одного человека составлял по острову Медному: 19 банок консервированного мяса, 3 килограмма экспортного масла, одну банку рыбных консервов.

Строго соблюдался порядок, при котором уезжающие с островов служащие возвращали продукты, взятые в то либо иное время на складе под расчет (разумеется, если их не успели съесть). Не только, допустим, два фунта кофе мокко (заодно и весь ячменный), не только банку томата — возвращали все, вплоть до бельевой соды и синьки.

Не было насущно необходимых для ведения хозяйства инструментов: молотков, клещей, топоров и другого инвентаря. В 1929 году на Командоры завезли пять пачек чернильного порошка, дюжину наждачной бумаги, дюжину иголок, три дюжины английских булавок, по флакону машинного и ружейного масла. И все! При таких поставках товаров, естественно, население не знало еще подлинной ценности денег. Потому-то каюр Мякишев и продал свой дом АКО (Акционерному камчатскому обществу) за 140 рублей, а взамен купил пару ботинок, граммофон («...совершенно испорченный и не играет») да еще кое-какую мелочь.

Сложное, полуголодное время, время тревог и больших ожиданий... И, видимо, был прямой смысл в том, чтобы назначить на должность первого советского начальника островов недавнего военного человека. Раз крутом море — значит, моряка.

Им оказался Евгений Николаевич Фрейберг — командир передового отряда Волжской военной флотилии, один из первых красных адмиралов (позже дравшийся на Байкале с остатками банд Колчака). Когда на Дальнем Востоке была окончательно установлена Советская власть, Фрейбергу предложили заведовать островами, стеречь их богатства пуще зеницы ока...

Может, именно поэтому красный адмирал чувствовал себя здесь как на театре военных действий. Первым делом убедился в том, что пулеметы Люиса, установленные на лежбищах островов, исправны. Заодно установил, что одностволки Бердана «неудобны при сырой погоде и внезапных заморозках и... опасны при частой стрельбе». Значит, необходима замена, и он ее потребовал. Предложил вышестоящему начальству ввести для алеутов-охранников красноармейскую или морскую форму — «мера, имеющая главным образом моральное значение» (отмечу, что до революции каждый достигший двадцатилетия алеут уже считался охранником и носил фуражку с надписью по околышу либо «о. Беринга», либо «о. Медный» — тогда эта мера, видимо, тоже имела моральное значение).

Затем Фрейберг, опять-таки как человек привычный к точной диспозиции, занялся инструментальной съемкой островов, ссылаясь на то, что из-за устаревших карт невозможно вести правильное промысловое хозяйство. Сейчас это утверждение вызывает улыбку: не в отсутствии точных карт, по-видимому, заключалась беда, а в полной хозяйственной разрухе. Начинать приходилось едва ли не с нуля.

Фрейберг терпеть не мог никакой бухгалтерской отчетности и канцелярской волокиты. Потому-то и не было при нем никакой канцелярии. Однажды ему понадобилось отметить промысловика-алеута за хорошую

работу. Евгений Николаевич тут же на острове купил за казенные деньги у кого-то из приезжих винчестер и вручил его алеуту в качестве премии. Нужны резиновые сапоги? Ну что же, берите, пока они есть на складе... Разумеется, все это — решительно без каких бы то ни было квитанций, накладных, расписок! В конце концов он на этом пострадал, но закаялся ли — трудно сказать!

Человек широкой натуры, Фрейберг отличался к тому же добротой и терпимостью — алеуты его уважали. А когда уезжал, вынесли на собрании благодарность «за хорошее отношение». Сейчас здесь его помнит только Юлия Сергеевна Ладыгина — самый старый житель.

Всерьез «заболев» Командорскими островами, я старался собирать все, что когда-либо о них написано, вплоть до торопливых газетных корреспонденций. И начало этому собранию случайно положила тоненькая «деттизовская» книжечка «Белоносик» с ревущими котами на обложке. Написал ее не кто иной, как Евгений Николаевич Фрейберг, о котором я тогда ничего еще не знал. Литераторы, когда-либо приезжавшие на Командоры, были знакомы мне либо лично, либо по их публикациям. Я даже полистал писательский справочник — нет, Фрейберга там не значилось. Видимо, сам он считал себя просто бывалым человеком, которому есть о чем порассказать детям.

Как ни удивительно, мне пришлось с ним повстречаться. (Поспособствовал этому ленинградский писатель Глеб Горышин, который уже писал о Фрейберге.) Для меня, правду сказать, было полной неожиданностью, что Евгений Николаевич жив, здоров и по-прежнему пишет книги для детей. Одна из них, самая свежая, лежит сейчас передо мной с дарственной надписью: «...пи-

сателю, воспевающему суровые, но прекрасные Командорские острова. От б. первого Советского н-ка островов. Ев. Фрейберг».

Я провел замечательный, до предела насыщенный воспоминаниями день с гостеприимным, бодрым, несмотря на свои 82 года, чуточку ироничным человеком. Собственно, Командоры стоят в самом начале его послевоенного послужного списка. Да какого списка! Сразу же по возвращении с Командор Фрейберг едет в Арктику, на один из островов Новой Земли, где занимается геодезической съемкой. Заканчивает Горный институт и получает еще одну специальность — геолога. В 1932 году ему поручено создать полярную станцию в бухте Тикси. О нем можно говорить как о первооснователе нынешнего города-порта Тикси¹. Затем Северный Урал, где Евгений Николаевич возглавляет много лет Полярно-Уральскую геологическую экспедицию. Изысканиями на Таймыре он занимается уже после войны — пожалуй, вплоть до самой пенсии.

Разумеется, в этой справке не отмечены ни его дружба с выдающимся полярным изыскателем Н. Н. Урванцевым, ни знакомство с Отто Юльевичем Шмидтом (предложившим когда-то в бухте Тикси тост за ПЕРВЫХ СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ В АРКТИКЕ, детей Евгения Николаевича, мальчика и девочку, причем мальчик по матери был алеут и родился на острове Медном; юноша пал смертью храбрых в конце войны, командуя подразделением «катюш»). Общался Евгений Николаевич и со многими героями челюскинской эпопеи, в частности

¹ В пятом выпуске «Летописи Севера» (М., «Мысль», 1971) Фрейберг пишет о работе станции Тикси подробно. О жизни Фрейберга в Тикси можно прочитать также в книге В. Шнейдерова «Великим Северным».

с прославленным летчиком Станиславом Леваневским, впоследствии пропавшим без вести в одном из транс-арктических полетов.

Жизнь Евгения Николаевича — это благодарнейший материал для отдельного повествования, здесь скороговоркой ничего не скажешь. Однако есть надежда, что мы прочтем когда-нибудь книгу воспоминаний, над которой он работает. Безусловно, найдет в воспоминаниях отражение и работа Фрейберга на Командорах.

А вот другой командорский могикан, работавший на пушных промыслах чуть позже (1928—1931 гг.) — видный ученый-орнитолог Ганс Христиан Иогансен. Только живет он... в Дании. Любопытно, что после Витуса Беринга это второй датчанин, попавший на Командоры.

До революции Иогансен проходил в Томском университете курс биологических наук, да так, видно, и «застрял» в России, впрочем, сохраняя датское подданство.

Я с увлечением читал монографию Иогансена о птицах Командор, а совсем недавно обнаружил в камчатском областном архиве его отчет о состоянии командорских промыслов. В соавторстве с Виталием Бианки он издал впоследствии научно-популярную книгу о живой природе островов «Страна зверей».

В 1937 году Иогансен возвратился в Данию. Дома он, впрочем, почти не сидел. Дотошное исследование птичьих сообществ было его глубокой привязанностью и страстью, ради этого он проникал в самые затаенные уголки земного шара. Невольно поражает география его странствий — от Командор до Огненной Земли! Причем он прожил на Огненной Земле несколько лет

совсем недавно, уже в довольно преклонном возрасте.

С учеными России он и до настоящего дня не порывает творческих связей, встречаясь с ними на зарубежных симпозиумах, помогая консультациями, советами, присылкой редких книг, поддерживая переписку.

В письме к Сергею Владимировичу Маракову он признается, что с особым удовольствием и часто вспоминает «командорские годы».

Медленно и трудно налаживалась в те годы мирная жизнь на Командорах, да ведь и вся страна переживала тогда исключительные трудности. Нэп, безработица, разрушенные корпуса заводов, а затем еще отсталая и нищая вчера Россия вплотную приступила к индустриализации, что потребовало огромных капиталовложений, полного напряжения сил.

Но не затухал общественный темперамент командорцев, не оставляло их чувство слитности со всем советским народом, чувство кровной связи с ним, с его чаяниями и дерзновенными помыслами. Крепло их политическое самосознание. Нельзя без волнения читать протоколы собраний промысловиков, помеченные 1923, 1924, 1925 и 1926 годами. (Неизменным в те годы председателем либо секретарем на этих собраниях был уже знакомый нам Антон Паньков, некогда избитый карателями-бочкаревцами.)¹ Какие только вопросы не стояли в повестках дня! Избрание пожарной команды,

¹ Любопытно, что этого сметливого беспокойного паренька приметил и Е. Н. Фрейберг. В 1925 году он увез Панькова с островов, брал с собою в геодезическую экспедицию на Новую Землю. Позже Паньков учился в Институте народов Севера.

дележ соли, выдача промысловикам бязи на паруса и веревок для собачьих упряжек, содержание вдов и отношение к церкви (во исполнение декрета СНК предложено верующим промысловикам взять ее на свое попечение), учреждение комитета содействия Советской власти, а также общества друзей воздушного флота (сбор пожертвований)... В Японии землетрясение — опять-таки на собрании решается вопрос об отчислении однодневного заработка в пользу пострадавших японских трудящихся.

Меня такие вот подробности всегда приводят в состояние некоего трепета — ведь все это маленькие приметы истории, которая необратима. И если их не зафиксирует в той или иной связи перо публициста, перо писателя, быть может, так они и сгинут в неизвестности, в архивной пыли. А то и в огне пожара — бывало и так. Как тут не согласиться с мнением одного из современных французских историков, который высказался в том смысле, что неопубликованное до сих пор письмо Наполеона — безусловно ценная вещь, однако куда ценнее «приходо-расходная книжка французской хозяйки, матери семьи, с записями ее трат и поступлений за годы 1789—1794... Сколько она заплатила за пучок лука в день взятия Бастилии?... Что стоила ей кринка молока утром того дня, когда голова Луи Капета слетела в корзину в ряду многих других голов? ...Ибо письма Наполеона хранят, а приходные книжки бабушек выбрасывают в печку. Настоящая же драгоценность для историка — именно они».

Потому-то так дороги мне, литератору, а сейчас, вольно или невольно, тоже исторiku, все эти лампы профессора Домберга, дом, проданный за пару ботинок и испорченный граммофон, английская бумага с водяными знаками «бритиш мануфактуры», емкая фраза из

письма алеутов в облнарревком («...но чистейшая искра надежды на освобождение от своры деспотизма не могла угаснуть в нас») и скупые строчки постановления о сборе пожертвований в пользу пострадавших от стихийного бедствия японцев.

А какой шум поднимался на этих собраниях, чуть заходила речь о промысле либо о хлебе насущном! Японцам помогали, все-таки классовая солидарность, но сами-то ели недосыта!

Вот выступает промысловик Терентий Ладыгин, немножко сердится:

— Ходить не в чем! Завезли нам зачем-то лакированные ботинки, духи. Нам не нужна роскошь, нам нужна прочность.

Голос с места:

— Не знают потребностей! Думают, как во Владивостоке, по мощеному тротуару...

Ладыгин:

— А хлеб? Разве же это хлеб? Его есть нельзя, глина!

Кулагин К. В., начальник пушных промыслов (он сменил на этом посту Фрейберга):

— На материке большинство рабочих и крестьян живут хуже, чем вы. Не следует зарываться в своих требованиях. Тот, кто говорит, что товары недоброкачественные, не уясняет себе рынка. Что есть на рынке, то и посылается. Другого нет. Да, зерно не из важных — оно поступает из Маньчжурии, из Канады... Понятно, что ржаной российский хлеб получше качеством, вкуснее, но сколько стоит доставка оттуда!

Ладыгин (смягчаясь):

— Я ведь не говорю, что нам нужен хлеб высшего сорта, пусть будет ржаной, какой едят в России. Но раз такая доставка...

Голос с места:

— Овощеводство надо развивать, картошку сажать!
А то одни только разговоры.

Еще голос:

— А-а, ничего не родит в сырости... Туман ботву жрет.

Харчук, помначкомпром на о. Медном:

— Грамотный человек удобряет землю суперфосфатом, а не молебнами и акафистами. Тогда она и родит. Так статистика показывает. Знания нужно иметь. Чем грамотнее народ — тем лучше живет. Это тоже по статистике видно.

Подобные диалоги и речи, звучавшие со сцены, уставленной декорациями пьес-агиток (внушительно здесь выглядели изъезженная шомпольная пушка, списанная особой комиссией с последующей передачей в рабочий клуб именно «для декорации»), можно было бы по необходимости и продолжить.

Быт и даже семейные взаимоотношения, неурядицы производства и планы развития пушных промыслов — все нашло отражение в тех либо иных отчетах, протоколах, распоряжениях. Из них явствует, что здесь шла борьба, иногда скрытая, сталкивались мнения, возникали споры. Тут было бы что посмотреть и послушать прозаику, поэту, киносценаристу. Ну что же, и в те далекие времена, хотя и с большими трудностями, на Командоры добирались люди искусства, пытающиеся отобразить в своих творениях жизнь далекой окраины. Не всегда это им удавалось в полной мере. Вызывает грустную улыбку не очень грамотная информация из донесения представителя Дальрыбы на Командорах:

«...27 апреля 29 г. пришел п/х «Астрахань»... Во время стоянки парохода... выходили на берег... три киносъемщика с режиссером Литвеном для съемки жизни

острова Беринга и промысла. Из-за краткости пребывания на острове и неподходящего времени промысла снять не удалось. Были сняты: общий вид селения, конторы, типы алеут, песцы в питомнике, песец на воле, которого держали за хвост под склоном сопки, чтобы не убежал.

...Киносъемщики были от Совкино и снимали картину для фильма «Затерянная страна». Командоры входили как часть картины, главное действие происходит на Камчатке».

Совсем недавно, листая изданную в Свердловске книжку «В краю огнедышащих гор», я убедился, что ее автор Александр Литвинов и «режиссер Литвен» — одно и то же лицо. Это человек, много сотен километров исходивший по дебрям уссурийской тайги, Камчатки, Чукотки, создавший на совершенно новом для тогдашней кинематографии материале добрый десяток документальных и художественных фильмов. В разработке маршрутов Литвинова и написании сценариев для будущих фильмов неоценимую помощь ему оказал В. К. Арсеньев — знаток дальневосточных краев. Мне знакома только одна работа Литвинова — кинофильм «Девушка с Камчатки», который я смотрел в детстве. Отдельные кадры этой экзотической ленты я и до сих пор отчетливо помню. Девушка, купающаяся среди пышных снегов в горячем озере, медведь-шатун, разбуженный извержением вулкана, стремительная езда на собачьей упряжке — все это буквально потрясло мою детскую душу. Теперь я понимаю, что с Командорами Литвинову не повезло, пусть даже и по обстоятельствам, от него не зависящим. Не видел он и извержения вулкана на Камчатке. А поскольку в фильме все же есть извержение, то боюсь, что это просто пиротехнические эффекты, заснятые уже в павильоне киносту-

дии (неувязочка вроде как с тем песцом «на воле, которого держали за хвост»). Но все равно литвиновские ленты тех лет запечатлели много важных и достоверных свидетельств о нашем Северо-Востоке, чаще всего познавательного характера.

Несколько вечеров рылся я в бумагах, пролежавших без движения в пыли и плесени много лет.

Жил я тогда у сугубо молодого директора зверокомбината Димы Чугункова. Его, похоже, вконец одолели хозяйственные заботы: то у клеточных песцов авитаминоз, не сообразишь, как выйти из положения, чем их кормить; то сообщили вот, что сигару оторвало, унесло куда-то вдоль берега, это ведь не шутка, если растреплет пятьсот кубометров дорогостоящего леса; тут еще грузовое судно на подходе, не случилось бы на это время шторма; наконец, сенокосная пора, в самый раз о силосных ямах позаботиться... да котиковый промысел постоянного внимания требует! Хоть разорвись. Здесь и опытному хозяйственнику в пору замотаться, а Дима Чугунков чуть ли не сразу после института в директора угодил... Сказали: справишься, чего там, не боги, мол, горшки обжигают. Чего не сумеешь — подскажем, поможем. Ну, как обычно в таких случаях говорят...

Туговато бывало у директора со временем, но и он увлекся моими бумагами, присаживался к столу после позднего ужина. Как же — командорская история, чей-то опыт, чьи-то ошибки и достижения, кое-чему не грех и поучиться...

Сказал обескураженно:

— А я еще жалуюсь на нехватку того, другого... Разве такие у них, — кивок на заваленный стол, — были

печали, когда в год едва-едва один пароход наведывался с тремя дюжинами английских булавок, с чем там еще по мелочи?..

И опять ворошил желтые бумажки — искал, что пишут его предшественники о песцах, о каланах, о котиках, на что обращают внимание... Потому что при всем том Дима Чугунков оставался биологом и всякое дельное наблюдение, замечание, совет копил про запас. И не напрасно: он и поныне каждый промысловый сезон проводит на командорских лежбищах, стараясь постичь расстановку сил внутри котиковых сообществ, уловить тенденции роста стада, не упустить и депрессии, если она наметится. Ведь это так важно для научно обоснованного прогнозирования промысла!

Словом, каждый из нас искал в этих немного уже тронутых временем бумагах свое.

И каждому, будем считать, повезло.

У МЕДНОВСКИХ КРУЧ



Для того чтобы взобраться с берега в Юго-Восточный поселок промысловиков на острове Медном, нужно преодолеть 375 ступенек крутой лестницы. Параллельно ей туго натянуты тросы подъемника, который приводится в движение установленным наверху движком (с помощью подъемника доставляются с берега грузы. Но когда штормит, сейнеры обходят мыс и сгружают ящики с хлебом, сахаром, кинолентами в таком месте, где уже нет ни лестницы, ни спасительного движка. Тогда промысловики взваливают ящики на плечи и, скользя и падая в осыпях, гуськом карабкаются по стремнине).

Отскакиваю в сторону: с подъемника летит в полиэтиленовом мешке чье-то имущество, вещи и цветные одежды разбрасываются в разные стороны, словно брызги.

— Это что,— говорит Сергей Владимирович Марakov,— когда-то, помню, сорвалась бобина с каким-то кинофильмом, и вся эта лента раскручивалась бесконечно и кончилась как раз внизу, у подножья лестницы. Вот была картина, вот был фильм!

На лежбище из поселка спускаются напрямую, по крутизне. Подчас это спуск довольно рискованный. Альпинисты по таким кручам с подстраховкой и ледорубами ходят. Навешены кое-где и здесь перила, свисают нейлоновые веревки... Не всегда, правда, за них ухватишься. Однажды промысловик из сезонников,

к острым ощущениям непривычный, глянул вниз и потерял сознание. Во всяком случае, так предполагают. Метров семьдесят он летел, ударяясь о выступы скал, и тут наперерез ему ринулся один из лучших порщиков алеут Валерий Сушков. Смелый то был поступок, ведь падающий мог сбить парня с ног, и тогда бы уж ничто обоих не спасло...

Сумел Валерий удержать сезонника, не сорвался и сам. Потерпевший был в тяжелом состоянии, и его увезли в больницу на остров Беринга. К счастью, вскоре он поправился.

Каждый год перед началом промысла идет здесь разговор о технике безопасности, об увеличении расценок за труд: все-таки необычность условий, попробуй отгони котов в нужном направлении среди сплошных рифов и скал. На острове Беринга — равнина, никакого риска... Присутствовал я однажды на собрании, где решались вопросы такого рода. Василий Романович Болтенко, тогдашний секретарь Алеутского райкома, согласился с промысловиками — сам ведь лазал по тем кручам. Директор зверокомбината пообещал изыскать средства дополнительной оплаты медновцам. А затрудненность условий — ну что ж, медновский хребет, скал медновских с места не сдвинешь. Разве только лишнюю веревку в опасном месте можно навесить.

Когда начинается промысловая пора, не все идет так гладко, как записано на бумаге. Трудно бывает уложиться до начала августа. А потом у зверей начинается линька, и качество меха резко падает. Во-первых, зверя ожидают, скажем, сегодня, а он запаздывает с привалом. Во-вторых, погода бывает неподходящая — плохо когда дождь, плохо и при солнце. Да мало ли!.. Есть причины волноваться и промысловикам, и научным работникам ТИНРО — с последних спрашивают прогнозы.

Фред Челноков, сотрудник Камчатского отделения ТИНРО, познакомил меня с молодым остроскулым алеутом Кириллом. Он восхищен его деликатностью, честным отношением к рабочим обязанностям.

В дни, предвещающие начало промысла, хожу с Кириллом наблюдать привал холостяков. Алеут этот удивительно легконог. Дважды в день совершает он свой рискованный обход с биноклем, и так в течение всего промысла. Это необходимо для того, чтобы уяснить, стоит ли готовиться на следующее утро к отгону, будет ли кого отгонять. Кирилл принимает участие и в промысле. Он прыгает по шуршащим осыпям не хуже козла, идет без палки там, где я уже ползу на четвереньках, опасно скользит под уклон в мокрой траве. Я и с палкой то и дело падаю, но Кирилл всегда успевает прийти на помощь. Достается, конечно, и ему, как он ни искусен в такой ходьбе; признался, что однажды упал метров с шести-семи прямо на камни, — словом, сорвался, летел кувырком, — и ничего, обошлось, только ногу зашиб.

Итак, вот она, жизнь котиковых лежбищ. Я имею почти неограниченную возможность наблюдать ее — пожалуй, на правах командорского «старожила». Обычно приезжих не очень охотно допускают здесь к лежбищам — глядишь, пойдут по ветру, напугают зверей или наживут себе какую-нибудь неприятность. Считается, что я уже кое-что смыслю в том, где можно ходить, а где нет — это верно, как верно и то, что о котиках нынче я знаю много. И многое в их жизни действительно представляет интерес, особенно для человека, наделенного способностью удивляться, равнодушного к живой природе.

Алеуты-промысловики из тех, кто постарше, наблюдая за секачами, имеющими какие-либо отличительные

признаки, уже давно заметили, что они облюбовывают одни и те же лежбища, куда возвращаются обычно каждую весну. Причем они даже, если это удастся, норовят улечься в тех же местах, где лежали предыдущим летом. Размеры гаремов обычно зависят от численного соотношения секачей-производителей и самочек, от времени прибытия секача на лежбище, от удобства местности, занимаемой гаремом, и от силы секача. На лежбище обычно можно встретить и гарем из сотни самочек, и скромную семью, в которой, кроме секача, одна-две самочки. Когда в начале века почти начисто были истреблены котики-самцы, случилось насчитать в одном гареме и свыше тысячи самок (Северное лежбище о. Беринга, 1905 год). Впрочем, и чрезмерное количество секачей для лежбища в целом весьма вредно, так как это приведет к невероятным по жестокости, частым дракам на лежбище, от которых пострадают прежде всего не дерущиеся, а те же самочки.

Во время привала самочек можно наблюдать случаи, когда они свободно выбирают секача. Алеуты когда-то так определяли это: «Матки ищут секача подобнее или старого знакомого». Случается и так, что секач выходит из моря с уже готовым, сформированным где-то ранее гаремом (даже больше десятка самочек).

Иногда, особенно в больших котиковых сообществах, на узких участках берега границы гаремов соприкасаются, и наблюдатель не всегда поймет, какому, так сказать, «султану» принадлежит та или иная самочка. Хотя сами они, видимо, знают своих «наложниц» наперечет. И если даже возможен переход самочки из гарема в гарем — это является скорее всего свидетельством ротозейства секача. А вообще к изменам секачи совершенно нетерпимы.

Однажды секач подбросил самочку вверх так, что

сверкнуло светлое подбрюшье, и затем швырнул назад в гарем. В другой раз секач схватил самочку сзади, а она, извернувшись, сделала ему прикус на груди, как бы повисла на ней — вот тогда он ее отпустил. Как видно, это не только самозащита, но и знак нежного обхождения, ласки, упрасивания: не сердись, мол, зачем расстраиваться по пустякам, экий ты непутевый...

Пришлось мне видеть, как расвирипевший секач гонялся за самкой. В это время другие самочки из гарема, возможно, из чувства солидарности с подругой, возможно, из опасения, как бы и самим от озлобленного секача не досталось, прикусывали его за что придется, но чаще за грудь.

Гаремный (или брачный) период длится у котиков опять-таки в зависимости от численности гарема, но к августу в общем кончается. Лишь тогда совершенно истощенный секач, который в течение всего брачного сезона ничего не ест и не может уйти с лежбища не рискуя потерять гарем¹, уходит, наконец, в море и начинает отъедаться. На берег он уже почти не вылезает. Тем более что и защищать гарем изнуренному секачу уже неважно — а на него со всех сторон насаждают здоровые холостяки-полусекачи.

Но пока секач в расцвете сил — он зол, свиреп, к нему не подступись. Сходясь для драки, секачи делают обманные движения туловищем и головой, порой неуловимые, как у боксеров. И уже расходясь, так и не схватив друг друга впрямую, могут схватить за бок исподтишка, явно неспортивно.

Драки иной раз бывают, что называется, без милосердия. Как-то во второй половине июля я наблюдал

¹ Есть сведения, что секачи — хотя и не всегда и не часто — на короткое время оставляют гаремы,

совершенно беспощадную, вот уж действительно «неспортивную» драку, когда несколько секачей едва не загрызли огромного полусекача. Возможно, он и тайных намерений никаких не имел. Он просто застрял между камнями, и в это время на него напали секачи, ринувшиеся каждый от своего гарема. Хватали зубами за жирную холку, за бока, один навалился грудью, как бы вжимая противника еще глубже в расщелину. Кое-как выкарабкавшись из ловушки и удирая от своры преследователей, огрызаясь, полусекач в конце концов обессилел и часто припадал к камням всем телом, а его всё грызли и грызли, только клочья летели,— больше, впрочем, ожесточенно рвали шею. Бедняга с трудом дополз до лужи и там затих, погрузившись в мутную жижицу. Изредка только взмахивал пятипалым задним ластом, как перчаткой. После такой драки котик может погибнуть даже и не от ран, а от «теплового удара», если вовремя не найдет какой-нибудь лужи, в которой можно охладить разгоряченное тело, или, на худой конец, не помашет, как веером, ластом над нижней частью тела: потовые железы находятся у него близ анального отверстия, им-то как раз и необходимо в первую очередь охлаждение.

Но самое тягостное зрелище, когда страдает ни в чем не повинная самочка. Вот вышла она из моря и спокойно направляется к своему гарему. (Опытный глаз сразу отличит самочку от малолетки-холостяка. И даже не потому, что у самочки длиннее усы, изящней, уже ласты — у нее иная «походка»: все мускулы в движении, они пластичны, гибки и упруги, и мокрое тело как бы плавится в лучах солнца, даже не плавится — плывет.) Но у самого уреза воды, на камнях, захлестываемых брызгами, лежат холостяки, имеющие виды на таких вот купальщиц, короткое время находя-

щихся вне гаремов. И холостяк уже скачет наперерез самочке,— она прыгает от него в сторону, однако он успевает схватить ее зубами, и тут, заметив непорядок, в праведном гневе к этой парочке устремляется хозяин гарема: свою самочку он способен отличить издалека. Однако вместо того, чтобы драться с презренным умыкателем законных «жен», ослепленный яростью, он видит только свою самочку в зубах у чужака. Он хватает ее, и самцы со страшным рыканием дергают самочку каждый себе. Она кричит, а им это безразлично, ими правит слепой инстинкт. И даже если на миг ей дадут передышку, убежать она не может. Но вот она опять в зубах, раны ее ужасны, бывает что чулком на ней задирают серебристую шкуру. Ага, наконец наглый холостяк, недовольно рыкая, прыгает назад: не вышло! А хозяин самочки равнодушно возвращается к себе в гарем: нарушитель закона и спокойствия наказан.

Лишь самочка лежит на камнях бездыханно. Впрочем, в ней еще теплится жизнь. Она подымает голову, тоскливо и с болью смотрит вокруг и начинает потихоньку ковылять к своему гарему. Ей, столь безжалостно истерзанной, долго теперь не жить. Лучше бы ее сразу разорвали пополам (что тоже бывает). А обидней всего, что гибнет не одна самочка: гибнет сосунок, или черненький¹, где-то ее поджидающий, гибнет и плод в ее чреве.

Правда, иногда можно слышать мнение, что большой беды от этих драк нет: секач-де вооружен «броней из толстой гривы и подкожного жира». Ну, если секачи в своих потасовках и впрямь причиняют друг другу

¹ Новорожденный котик первые месяцы жизни совсем черный, отсюда это ласковое прозвище.

мало вреда, поскольку сходятся на равных, то самочки и особенно новорожденные черненькие страдают от них сплошь и рядом.

...По лежищу бесстрашно шныряют песцы. Вот один подходит ко мне, обнюхивает сапог, пока я стою, потом прикусывает резину, норовя сдвинуть ногу с места. Не удается — и он этим огорчен. Обиженно посмотрев на меня, ретируется. Ай да вая (так здесь кличут песцов — от алеутского «ванях»). Ай да юморист! Какие номера откальывает...

На лежищах они не прочь и побраконьерить. Особенно в начале гаремной жизни, когда поживиться здесь песцу как будто еще нечем, нет никаких отходов. Схватит песец новорожденного у зазевавшейся матки и неподалеку от нее разорвет на части. Равнодушие котиков к своему потомству труднообъяснимо. Возможно, это только кажущееся равнодушие и не исключено, что в глубине души matka плачет по своему детенышу горячими слезами.

Но наблюдатель отмечает прежде всего то, что самоочевидно. Огрызнется она два-три раза на песца и засыпает. А песец между тем осторожно подкрадывается к жертве и ждет только удобного момента. Вцепится зубами в мордочку черненького и начинает таскать его по лежищу, пока тот не обессилеет и не перестанет сопротивляться. Секач же и вовсе не обращает на песца внимания, ему-то что, у него в гареме этими сосунками хоть пруд пруди. Разве только рыкнет изредка, вроде припугнет, и тут же отвернется.

Однажды на глазах у матки, а также оказавшегося поблизости начальства (разумеется, ему-то не упрек) песец нагло умыкнул черненького. Василий Романович Болтенко не на шутку расстроился.

— Стрелять их надо, что ли, — сказал он в простоте

душевной.— Ведь что творят, негодяи этикие! Какой убыток для стада!

— Стрелять!— решительно поддержал секретаря райкома Егор Томатов, рыбинспектор.— Есть такие песцы, которые жрут котиков постоянно, и вот этих-то надо истребить.

Присутствовавший при разговоре Фред Челноков тихо усмехнулся.

— Это ты брось. В принципе, когда песец голоден, любой из них способен загрызть черненького, да что там, зазевайся,— он и тебя грызть начнет. Значит, потвоему, нужно всех песцов перебить, что ли? Скажи хотя бы, как ты определишь, что песец, утащивший котика сегодня, именно тот самый, который разбойничал и вчера?

— Определю,— заупрямился Егор.— Вот я его бабахну, он уже и не придет больше, так вот и определю.

— Ну а если придет другой? Опять бабахнешь? Это ты брось. В сущности, песец не всегда справится с черненьким двух-трех дней от роду, тот уже способен за себя постоять, песец тащит их еще мокренских, малоподвижных. А теперь прикинь, сколько здесь будет зловонного последа ровно через десять-двадцать дней, если прогонять отсюда песцов? Спасибо им, они хоть в какой-то мере роль санитаров на лежбище выполняют.

Песцов на лежбище, разумеется, никто стрелять не стал. Тем более что позже, в разгар гаремной жизни, песец меньше безобразничает; возможно, на него оказывает психологическое воздействие вся эта необозримая масса котиков, монолитно сгрудившихся на камнях, и он уже побаивается их; не трогает он черненьких и тогда, когда они собираются вместе, образуя так называемые детские площадки, или «детясли». Так что

нет оснований говорить о серьезном вреде, наносимом песцами лежбищу. Если и есть какой-то вред, то он носит строго временный характер.

Между тем больно наблюдать самочку, переползающую через тела задавленных и живых черненьких, самочку, что кричит, ищет своего сосунка. А его, быть может, и в живых уже давно нет. Однако, если сосунок жив, матка его найдет даже среди миллионов черненьких. Тут у нее безотказно срабатывает поразительное, на взгляд человека, чутье. Но случается, что ищет она долго. А перед этим она кормится где-нибудь далеко в море. Для кормления малыша возвращается к берегу не чаще раза в неделю — и этого, очевидно, вполне достаточно, так как молоко у нее свыше сорока процентов жирности; оно раз в десять жирней коровьего; в нем больше белка, чем в коровьем, но меньше сахара...

Не очень-то уютно чувствуют себя черненькие котики на лежбище, даже когда под боком мать, хотя поначалу, до ухода на детскую площадку, они и держатся от нее вблизи; и уж совсем такой малыш предоставлен судьбе, пока мать плавает далеко в море.

Какого только дива не насмотришься на котиковых лежбищах! Бывает и так, что самка, почему-либо лишившаяся своего малыша, ворует чужого, насильно удерживает его при себе, пытается накормить, а когда идет купаться — уносит свою жертву в зубах. И в то же время если черненький по ошибке подползет не к своей матери (он плохо различает ее), эта чужая с непонятным стороннему наблюдателю озлоблением схватит его зубами и отбросит в сторону. Бедняжка подползет к другой — и та тоже цапнет его за мордочку. Хорошо, если его мать неподалеку — она приковыляет к обиженному детенышу и, облюбовав местечко поспокойней, начнет кормить.

...Вот так походишь, бывало, над обрывами и ущельями с Кириллом, основательно намерзнешься и ввалишься к ребятам-промысловикам в общежитие, в голубой теремок, ежегодно требующий ремонта и неослабного ухода (все здесь отсыревает, коробится, ржавчина жрет металлические предметы), в это тепло, чтобы посмотреть новую или не очень новую кинокартину. Здесь бывает, что смотрят и по три ленты за вечер. Из кухни аппетитно несет кислым парком — это преет в укусном растворе (чтобы отбить запах рыбы) некое варево, умопомрачительная смесь из топорков, кайр, бакланов, каюрок с красными лапками; щекочет ноздри сатанинский этот навар.

Однажды здесь подали на второе сочную отбивную из мяса сивуча. Обедали биологи, занятые на котиковом промысле. Повариха-алеутка, высунув голову из окошка раздачи, спросила Маракова:

— А как вы относитесь к сырой печени сивуча?

— Положительно отношусь,— ответил Сергей Владимирович, с аппетитом жуя отбивную.— А что, у вас есть? Так давайте!

— Я не оставила,— пожалела повариха,— сама вот поела, я люблю, ну а насчет вас я не была уверена, может, побрезгуете...

И тут сам собою возник за столом разговор, кому какую дичь пришлось в жизни попробовать. Это стоило послушать! Мараков признался, что ему однажды довелось съесть даже змею, какого-то полоза. Уже не говоря о мясе ондатры и енотовидной собаки. Дмитрий Чугунков сказал, что ел чайку (подумаешь, невидаль, кто ее не ел!), песца и лисицу (это уже мужской разговор). А Гена Нестеров нахваливал суп из сусликов.

Вот кому не грозит переход на пищу из каменного

угля и даже, в лучшем случае, на пищу из планктона! По крайней мере, до тех пор, пока водятся в море осьминоги, тюлени и сивучи.

Могучий, кстати сказать, зверь — сивуч. Иной самец больше тонны весом. Вид внушительный. Недаром Стеллер дал ему имя морского льва.

Было время, когда человек широко охотился на сивучей. Их шкурами обтягивали байдары, горло и кишки использовались для непромокаемой одежды (в частности, пищевод сивуча, совершенно водонепроницаемый, шел на изготовление сапог-бродней). Сейчас эта охота почти повсеместно прекращена. Здесь, правда, забивают в год две-три сотни голов на корм клеточным зверям, и шкуры этих сивучей безжалостно выбрасываются, никому они не нужны. На худой конец, хоть сыромятные ремни можно бы из них делать.

Так вот, охота на сивучей прекращена, и не удивительно, что их стадо, численность которого во всем мире достигла более трехсот тысяч голов, начинает мешать котикам, да и каланам. Сивучи оттесняют котиков на их исконных лежбищах в места похуже. Иногда в одинаково неудобные как для котиков, так и для человека, занятого промыслом. Возникает реальная угроза ухода части котиков с насиженных мест, угроза разрушения того или иного освоенного промысловиками лежбища. Ведь и пройти котику с моря на лежбище сейчас непросто, если он наткнется на эту грозную живую преграду. При всем миролюбии сивучей они, случается, и дерутся со своими родственниками по отряду ушастых тюленей. (Можно наблюдать, впрочем, и такую идиллическую картину, когда плавающий сивуч, скорей всего по случайности или безразличию, «какает» на спине детеныша котика).

Что же, коль скоро сивучи мешают, — стрелять?

Однажды смотрел я на Беринге в принципе неплохую документальную ленту хабаровского оператора Фартусова «Острова Командорские». Дикторский текст: избыток сивучей, котикам некуда деваться, и тогда им на помощь приходят люди. Соответственно тексту — в кадре скалы, рифы, за ними охотники, которые палят из винтовок по сивучам. Грохот, рев, сивучи в панике разбегаются...

Сидевший рядом Фред Челноков наклонился ко мне и сказал:

— Худший образец варварства, или нищета научных рекомендаций.

Ярый противник «хирургического» вмешательства в природные взаимосвязи, он, как говорится, был в привычном амплуа.

Действительно, стрельба на лежбищах или недалеко от них по сивучам — это не решение проблемы. Слишком много придется стрелять там, где треск и шум вовсе нежелательны. Между тем о широком промысле сивуча ныне говорят все чаще и громче. Знать, назрела необходимость. Да почему бы и нет? О шкурах я уже говорил. Кроме того, у сивуча вполне съедобное мясо! Сердце и печень весьма питательны, богаты витаминами, у них нежный вкус. Можно делать консервы, особые копченые колбасы, что ли. Это уж забота технологов-пищевиков, пусть думают. Вообще-то, разумеется, есть можно многое, если с умом приготовить. И разговор в медновской столовой убедительно это подтвердил.

Решил пройти по хребту в легендарную бухту Глинку (именно из этой бухты медновцы успешней всего отражали налеты пиратских японских шхун в русско-

японскую войну; Глинка, кроме того, была основным местом разделки котиковых шкур, — тут некогда стояло несколько домиков для нужд промысла и охраны).

Ныне в Глинке всего лишь один домик, и живет в нем один человек. Он занимается изучением каланов, стадо которых кормится поблизости в зарослях морской капусты, время от времени отдыхая на берегу. Любопытно, каково самочувствие парня, в одиночку изучающего редкого ныне зверя, не тоскливо ли ему жить наедине с морем.

Туманы висят над зазубренной грядой островного юго-востока почти постоянно, сырыми хлопьями оползают они по обе стороны хребта. Тропа там и сям перекрыта снежниками — фирновым, слежавшимся за зиму, уплотненным снегом, в котором не утопает нога. В нем почти невозможно выбить ступеньку, а я как на зло не захватил с собой даже охотничьего ножа (уже не говоря о ледорубе, который вообще остался дома за тридевять земель). Ножом я смог бы вырезать ступеньки в окаймляющих снежники наледях — они не так уж широки. Ну как через них прыгать, а вдруг поскользнусь?!

Снимаю рюкзак и пытаюсь перекинуть его через наледь на чистый снег — в надежде, что он там устоит. Однако лямки из рук не выпускаю. Рюкзак, конечно, сорвался и своей тяжестью потащил меня вниз. Падая, растопырываю ноги и торможу каблуками в снегу: выручает приобретенная некогда на Кавказе альпинистская снаоровка. Однако метров десять проволокло...

Конечно, если бы я хоть раз прошел здесь при солнце, легче было бы сориентироваться по памяти. А сейчас туман. И мне не остается ничего другого, как возвра-

титься, причем я считаю, что проявил в этом случае все мужество, на которое только способен.

На следующий день выхожу в Глинку с Кириллом — он вызвался проводить меня по крайней мере до тех пор, пока будут встречаться опасные участки. На том снежнике, от которого я повернул накануне, он все же не успел подать руку вовремя, и я опять лечу вниз, пока не удастся воткнуть в снег поперек моей «трассы» палку. Теперь мне, впрочем, видна вся выположенная долина, и до обрыва далеко, и я могу кувыркаться вниз, особенно не задаваясь вопросом, быть или не быть... Но кувыркаться по этому же склону в молочном киселе тумана, каждую секунду с ужасом ощущая приближение возможного обрыва — нет, нет, слуга покорный!

Иногда, идя по склону буквально на рантах сапог, выворачивая ступни, с содроганием душевным слышу совсем рядом, как через стенку в жактовском доме, утробный рев прибоя. Там Тихий океан. А здесь, у меня на виду, Берингово море. Словом, хребет предельно истончается, у него с противоположной стороны уже нет ничего, что можно было бы рассматривать как склон, — в океан уходит провал, вдруг разверзается бездна, и так ненадежна, зыбка становится тропа, на которой ты застигнут!

Впоследствии я достаточно лазал по склонам медновских хребтов с геологом Отто Шмидтом, взбирался с ним и на высшую точку острова — гору Стейнегера (640 м). Хаос тестообразно застывших, наштипованных обломками конгломератов, пестрых брекчий, желтых щебеночных осыпей и увешанных водорослями рифов был в наших маршрутах постоянным, признаться, не-

сколько жутковатым подчас фоном. В каждую бухту мы входили как в некий затерянный мир, с любопытством и опаской. Ибо нет острова, по своей неприглаженной первозданности схожего с Медным!

Геология Командор еще не изучена досконально¹, лишь ныне ею занялись вплотную: отовсюду едут геологи, ищут связующие звенья для своих теоретических построений и гипотез, восстанавливают во всех пока доступных подробностях геологическую историю района. Историю, изобиловавшую катаклизмами, да еще какими. Острова-то вулканического происхождения!

По-видимому, с образовавшейся на дне Тихого океана громадной, весьма протяженной трещины некогда хлынула магма. Океан кипел, над ним клубились мощные протуберанцы пара и газов. Однако магма в воде быстро остывала, нагромождая рыхлые пирамиды так называемых подушечных лав. Мало-помалу возникали надводные постройки, утрясались перемежаемые слоями пепла, насыщенные растворами осадочные толщи, бурно шел в рост экзотический лес. Кедр, секвойи, орехи, грабы... Лес, которого сейчас на Командорах нет и в помине. Но он был, о чем свидетельствуют остатки окаменевшей обугленной древеси-

¹ Впервые пристальный научный интерес проявил к ней геолог Йозеф Морозевич, поляк по происхождению, командированный сюда в 1903 году Горным департаментом на предмет оценки «предполагаемых ископаемых богатств — меди и золотоносных песков». Как ни странно, следующая попытка геологического описания островов датирована лишь 1958 годом (автор — геолог Ю. В. Жегалов). Зато летом 1972 года здесь уже работали представители пяти геологических институтов страны, — тяга ученых к этому району резко возросла.

ны, встречающейся в террасах и галечниках довольно часто. Туристы особенно охочи до таких сувениров, да и у меня на стеллажах лежит несколько забавных окаменелостей.

В свою очередь новорожденные острова подвергались непрерывному натиску морского прибоя, ветра и дождей, научно говоря — абразии и эрозии. Удалось ли им устоять в ту пору, приблизительно пятьдесят миллионов лет назад или вся Алеутская гряда, включая и ее командорское звено, превратилась в цепочку подводных отмелей? Да, нет, пожалуй, не удалось, но можно утверждать наверное, что фундамент, на котором с новой силой вспыхнула вулканическая деятельность (и опять клокотала лава, и сеялся пепел, и полосовали черное небо молнии очистительных гроз), — фундамент этот безусловно остался. Словом, острова возродились к жизни, и был опять лес, и не стало леса, и отстукивало целые эпохи тяжеловесное геологическое время, и менялся климат, — но все еще слишком зримо заявляет эта земля о неистово-огненном характере своего прошлого.

И впрямь бурный был характер стихий в этой части планеты, воистину в поту дрожала, дыбилась, вставала на попа земля, если спустя безумную пропасть лет не пройти по ней без поддержки сбоку, без помощи ледоруба. Кирилл молчит. Я чертыхаюсь. Раньше, возможно, ходить здесь было несколько удобней, — существовала четкая тропа через весь остров, сейчас она нередко теряется, по хребту почти не ходят. Зачем, когда все нужное промыслу доставляют сейнера, флот местного значения, они же и готовые шкурки заберут. По наледям здесь карабкаются разве что алеуты-охот-

ники в пору зимнего отстрела песка, а это бывает не каждый год. Кирилл говорит, что им приходится привязывать к обуви самодельные кошки, иначе по обледенелостям не пройти. Правда, несчастных случаев не было...

На прощанье он кричит мне вслед:

-- Смотрите там не сорвитесь на спуске!

Самое опасное уже позади; спуск к берегу хоть и крут, но все же вполне преодолим. Впереди виднеется узкий перешеек. Оттуда мне предстоит часа два идти по берегу до самой Глинки.

На песчаном гребне перед спуском поневоле останавливаюсь: здесь довольно сильный ветер, так что шагу не ступить. Упруго рассекая восходящие к вершинам скал потоки воздуха, из-за гребня, которым я скрыт, прямо на меня вылетают глупыши и краснолицые бакланы. На виражах и в размашистых мертвых петлях этих воздушных гимнастов затормаживает плотными зарядами ветра, и тогда особенно картинны бакланы — будто замысловато, с выдумкой вырезанные из черной бумаги плоские растрепанные силуэты. Каждое перышко воспринимается отчлененно от остальных, все тельце светится как бы насквозь, оно распахнуто широко и взъерошено. Это уже не птица, а ее символ, некая рисованная условность в духе японских гравюр, «укиё-э».

Кто-то здесь рассказывал об ураганном шторме в районе Юго-Восточного мыса. Дело было уже к зиме. Снежная крупа свистела над морем, перемешанная с хлопьями пены: у берегов стоймя вставали пластинчатые листья морской капусты — и она зябко трепетала над всклокоченными волнами, заламывала коричневые руки.

Глядя на встопорщенных бакланов и глупышей,

я вспомнил о тех беспомощных перед ураганом пласти-
нах капусты, восставшей из пучины.

Я подумал о том, какие ураганы могут еще обру-
шиться на эти берега, какой накат загромыхает в этих
бухтах, ворочая тяжеленные камни, какое эхо будет
разноситься многоголосо окрест.

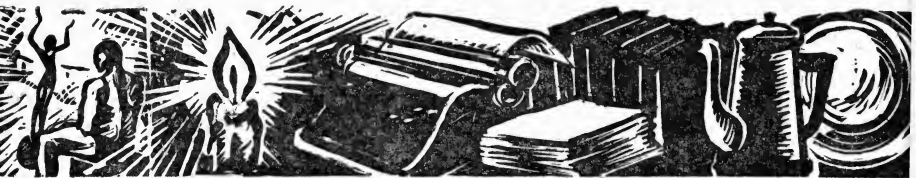
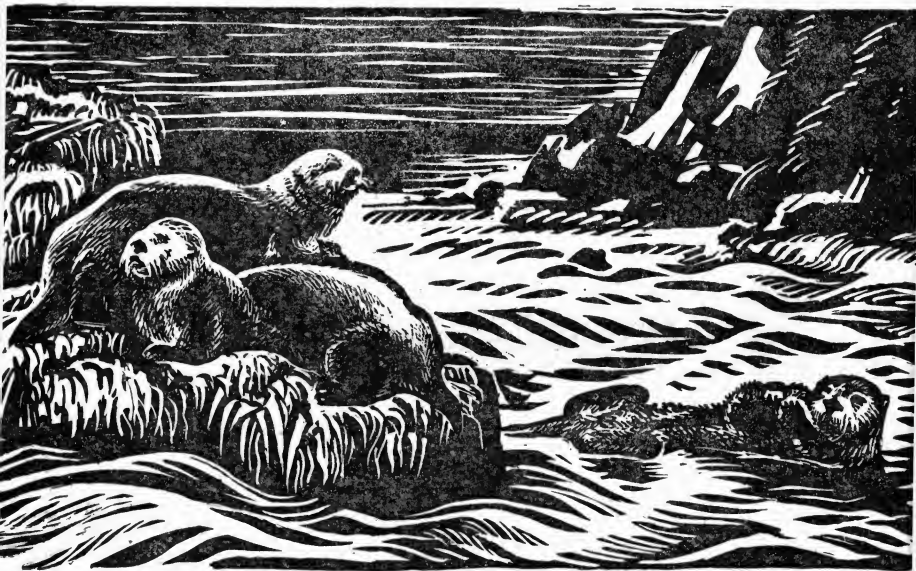
Мало что может устоять перед ураганом.

Но человек стоит.

И всегда стоял.

И будет стоять. Просто ему иначе нельзя.

БЕРЕГ
МОРСКИХ БОБРОВ



И так, пройдя по острым и крутым хребтам Юго-Восточного мыса, я спустился на перешеек, затем на берег и уже без всяких осложнений добрался до хижины биолога Бориса Хромовских. Скажем так: то был достаточно благоустроенный и прочный для этих мест домик. Как-то меня примут в нем? Ведь Хромовских не был предупрежден о моем приходе. Я рассчитываю только на то, что человек любого характера и образа жизни, обитая в одиночестве, пожалуй, скорее обрадуется временному гостю, чем огорчится. Но все это одни предположения, а на самом деле я немного волнуюсь, потому что, кроме имени и фамилии «хозяина» бухты Глинки, решительно ничего о нем не знаю. Еще я волнуюсь из-за того, что могу не застать его дома — может, ушел куда-либо «в остров».

Но мне повезло: в домике тихо играет приемник. На стук хозяин открыл не сразу — думал, что почудилось или собака царапается. Он не удивился, увидев незнакомого человека — заглядывает в Глинку кое-какой народ, хотя и не часто.

Это высокий рыжеватый парень с несколько утяжеленным лицом, привлекательным как раз своим «необщим выраженьем».

— Да, да, я слышал о вас, — говорит он после того, как я представился. — Живите, пожалуйста.

— А ничего, если я дней, быть может, на десять?

Мы уже зашли в кухню, где жарко топится печь;

стоит на полках в углу кухонный инвентарь, на столике тихо, с хрипами, воркует «Спидола», а со стенки от окна знакомо смотрится репродукция «Девочка на шаре» Пикассо (спасибо «Огоньку», что практикует такие вкладки,— они украшают ныне стены почти всякого жилья, и особенно в деревне, на краю света, где-нибудь даже в палатке или вагончике изыскателя).

— Пожалуйста, живите хоть сколько угодно,— говорит Борис.— Вот, кстати, поможете метить каланов, а то самому мне трудно будет с ними справиться. Вы, наверное, есть хотите? Я, правда, недавно пообедал, но мы сейчас сообразим, печка топится...

Мне здесь нравится; впрочем, при хорошем ветре этот домик, хотя он как будто и недавней постройки, наверняка ходит ходуном и изо всех щелей дует, но сейчас в нем уютно и тепло.

Пока Борис тушит в продолговатой гусятнице картошку и кипятит кофе, прохожу в смежную — жилую и рабочую — комнату. С потолка здесь свисает огромный оранжевый шар, надувной, завинчивающийся — он отсвечивает как диковинная люстра в темноватом, еще не прогревшемся после зимы домике. Японские рыбаки используют такие шары для обозначения выставленных в море сетей. Все шары яркого цвета — белого, ядовито-лимонного, оранжевого, малинового — чтобы в толчее волн сети просматривались издали. Выбрасываемые штормовыми накатами на берег, они становятся желанной добычей охотников до сувениров.

Около окна стоит на мощных бамбуковых ножках сколоченный из досок стол, на столе навалены рукописи, желтеет оплывшая свеча и открыта с листом бумаги в каретке пишущая машинка «Олимпия». Борис перед моим приходом как раз сидел за ней. Он пишет на ней не торопясь каждый день, по крупицам собирая и ре-

гистрируя наблюдения, оценивая их с точки зрения биолога.

Здесь же — кровать и топчан.

Одиночество Бориса скрашивает потешный щенок Кулема.

Спрашиваю, что значит это имя.

— А вы как думаете?

— Ну, я бы сказал, этаким неумеха, лопоухий...

— Нет. Кулема, кулемка — это ловушка для мелких зверьков.

— И что же, оправдывает он свое имя?

Борис смеется и треплет щенка за ухо.

— Боюсь, что пока нет. Но надежда не оставляю.

Ночью Кулема нет-нет да и ворчит на мои кеды — черно-белые, яркие, они навевают щенку какие-то, быть может, не весьма приятные воспоминания. Утром все разъяснилось.

— Тут мне ребята с сейнера принесли ипатку и топорка, — рассказал Борис, — живых, здоровых, уж не знаю, как они их раздобыли. Просили, чтобы чучела я им сделал. В той комнате большую такую клетку видели? Это я соорудил, чтобы отловить одного либо парочку приболевших каланов и проследить за ними. Правда, что-то я здесь больных каланов в этом году не наблюдаю. Ну так вот, ипатка и топорок жили в этой клетке вместе, но ничего не ели и между собой не общались, дичились друг друга. Вот поди ж ты, а как будто птицы родственные кое в чем, да и внешне почти схожи. Так вот, ваши кеды, должно быть, напомнили Кулеме ипатку. Было тут дело. Щенок подошел к ипатке, не подозревая худого, а клюв у этого попугайчика дай боже. Топорик, одно слово. Как она его ткнула этим топориком по носу — и нос защемила, и прибила к нижнему клычку губу, клычок через губу вылез —

ну, тут Кулема заверещал и к себе с визгом на подстилку. Не может, бедняжка, вытащить клычок из губы, и все тут. Еле я разобрался, в чем дело, и освободил его от этой напасти.

Попив кофе, берем фотоаппараты и идем на лежбище. До береговой залежки каланов минут двадцать хода.

Мало-помалу узнаю кое-какие подробности о них (позже мне в этом помогли и книги, и отчеты наблюдателей-звероводов).

Калан — единственный представитель семейства куньих, ведущий водный образ жизни. Его еще называют морским бобром или выдрой. Щенки именуются медведками, а годовалые — кошлаками.

Шкура ценится из-за высокой плотности меха, причем нежная густая подпушь достигает у калана длины остевых волос. Под мышками и на груди складки, потому, если сам калан достигает полутора метров длины, снятая с него шкура иной раз вытягивается до двух метров. Короче говоря, мех калана по качеству, носкости и красоте не имеет себе равных.

Стеллер свидетельствует, что каланы у острова Беринга когда-то плавали многочисленными табунами. В середине XVIII века их ежегодный промысел составлял примерно тысячу голов. Котов даже и не били тогда, но вскоре промысел каланов катастрофически упал, их стадо было почти полностью истреблено. Почти на сто лет покинули они острова, а потом стали появляться снова. В 1924 году охота на них была запрещена — действие запрета длится и до сих пор. Это была очень своевременная мера: в стаде осталось не больше 350 зверей. Прошло не одно десятилетие, прежде чем численность каланов начала как будто неуклонно повышаться.

Мы вскользя толкуем обо всем этом, а Кулема бес-
печно трусит сзади. Иногда забегает вперед, что-то вы-
нюхивает, потом опять занимает место в арьергарде.
Вдруг он отчаянно взвизгнул. Оказывается, песец цап-
нул нашего доблестного песика за ляжку. Кулема да-
же не рискнул огрызнуться.

— Ай да Кулема — ловушка для мелкого зверя! —
хохочу я.

Борис принимается стыдить щенка, а он только ви-
новато виляет хвостом, чувствуя, что оказался явно не
на высоте. Маленькое это происшествие на время от-
влекло наши мысли от предстоящей встречи с калана-
ми. Вскоре Борису предстоит пометить нескольких
зверей, — задача довольно сложная, — немудрено, что
мысли об этом не дают ему покоя.

— Э, черт, все-таки калан — хищник, — роняет не-
довольно Борис, — укусит так, что и кость хрустнет.

Каланов в Глинке метили только раз и всего двух —
кажется, еще в 1961 году. Борису хочется провести вто-
рое мечение посолідней, ну, пометить хотя бы каланов
двадцать — как раз и в плане эта цифра утверждена
начальством. Да вот как его метить? Ведь поймать ка-
лана можно только на берегу спящего, сачком или сет-
кой, а пометить нужно так, чтобы не встревожить ста-
до. Каланы крайне чувствительны к внешним раздра-
жителям. Возьмет и уйдет стадо из этих мест.

Не разобраться, откуда ветер дует; у каланов меж-
ду тем сильно развито обоняние (слух на втором месте,
зрение лишь на третьем).

— С этим ветром беда, — жалуется Борис. — Сплош-
ное какое-то кружение. Идешь на ночное дежурство,
вроде ветер как надо, с моря, а в час ночи повернет —
и каланы все в море, естественный суточный цикл на-
рушен, не прослежен до конца. И так каждый раз.

Каланы и впрямь учуяли нас метров за двести или даже за триста: на залежках их как не бывало.

Усаживаемся на удобные, как бы нарочно приспособленные для лежки бобровые камни. Чуть поодаль, за отливом, возвышаются сглаженные волнами рифы, защищающие этот уединенный уголок от штормовых накатов. Каланы сильно привязаны к местам обитания — это диктуется и удобством залежек, укрытых от бурного моря, и кормовой базой, достаточно богатой в данном месте, чтобы стадо могло безбедно жить здесь многие годы. Неутомимый исследователь животного мира Курил Алексей Белкин (позже он трагически погиб) заметил, между прочим, что вновь расселяющиеся там каланы облюбовали именно те двадцать два острова, на которых их промыслили еще в конце прошлого столетия. Причем каланы не только отыскивали эти «их» острова, но и заселили и обживают именно те камни, которые когда-то занимали деды и бабки.

А Борис все грустит, обозревая пестро разукрашенные выемки опустевших камней.

— В мае и до половины июня я не мог на лежище зайти,— каланов всюду было навалом среди камней. А сейчас вода потеплела, и они почти совсем не выходят, разве только ночью. Теперь, пожалуй, разве штурма ждать придется. Эх, неужели сорвется мечение?

Нам ничего теперь не остается, как только наблюдать за ними в бинокль: каланы уплыли довольно далеко в море, минуя прибрежные заросли капусты.

— Как кучно они держатся,— говорю я, опуская бинокль,— прямо кипит там все.

— Чувство локтя,— улыбается Борис.— У них не то, что у котов. Вообще я видел однажды двух косаток близости — ну, думаю, сейчас будет картина. Однако даже разочаровался немного — и косатки прошли ми-

мо, и каланы на них внимания не обратили, а ведь вроде это злейшие их враги. Не заметили друг друга? Но ведь движение в воде обоюдно должно было вызвать какие-то акустические явления. Положим, косатки могли быть сыты, — значит, тогда каланы оказались не на уровне. Представляете, что было бы, если бы косатки ворвались в эту гущу каланьих тел?

Впрочем, не все каланы держатся в дальнем стаде, — некоторые плавают близко от берега, ныряя в зарослях морской капусты. Борис склонен считать, что это престарелые звери, которым в стаде почему-либо трудно ужиться, выдерживать его рабочий ритм.

Чаще всего в эти дни я с тоской сердечной — ведь даже телеобъективом не достать! — наблюдаю именно за такими одиночками. Забавно смотреть, как зверь, нырнув за ежами или ракушками, кладет их потом себе на грудь. Ежей он грызет, лежа на спине, и все время выплевывает кусочки панцирей. Поскольку грязи и мусора он совершенно не терпит, то раз от разу переворачивается, чтобы смыть шелуху. При этом, как следовало бы ждать, остальные ежи не сваливаются, не тонут, — лапки у него цепкие — пожалуй, он даже иголку сможет схватить и удержать.

Прошлым летом Борис возился в домике с больным каланом. Когда калану захотелось пить, он дал ему воды в тазике, но, неуклюже ткнувшись туда головой, зверь тазик перевернул. В то же время он слышал и, возможно, видел, откуда Борис наливал в тазик воду, и полез в ведро. Чтобы он не опрокинул ведро на себя, Борис придерживал дужку. Калан тянул ведро к себе упорно, до тех пор, пока не окунул мордочку и не напился. После этого не пожелал выпускать его из лапок. Он был очень больной и через несколько часов умер. Но едва ли не до последней минуты оставался

все же довольно сильным,— каланы вообще сильные.

— Калану только дай, он может и с осьминогом справиться,— заметил влюбленный в них Борис.— Для него это даже лакомый кусочек, осьминогов он обожает.

К калану и впрямь невозможно относиться безразлично. Умные звери. Ловкие звери. Между собой не дерутся, как это бывает у котиков. Природа позаботилась об их миролюбии, почти лишив их той мощной жировой прослойки, какую, например, располагают котики. А тот весьма незначительный жир, что все же есть у каланов, не служит им теплоизолятором, эту функцию несет великолепный по своим качествам мех. Котики могут драться сколько им влезет, у них под кожей жир, раны им, особенно секачам, не так уж и вредят. А раненый калан сразу истечет кровью,— какая уж тут драка, процветанию вида она не послужит, разве только его убыли... Как образно заметил Борис, «каланы живут в стеклянных домиках, поэтому камнями не бросаются». Странно, что при таком образе жизни и явном миролюбии именно калан относится к морским хищникам (наряду, скажем, с белым медведем).

Но какая разница в отношении к потомству у каланов и у тех же котиков! Каланы в своих детенышах души не чают. Как-то год спустя я собрался с Дмитрием Чугунковым на фотоохоту. На главную бобровую залежку Хромовских, конечно, никого не пускал. Пошли на мыс Дровенской, загроможденный рифами. Один из них, узкий, зазубренный, как истончившийся нож, уходил далеко в море. Во время прилива он полностью скрывался под водой — и потому весь был облеплен зелеными водорослями,

Нам повезло: у рифа в капусте роился целый табун каланов. Поодаль плавала матка с медведкой. Что было делать? «Оседлали» скользкий риф и, помогая себе руками, припадая к сырому камню всем телом, медленно поползли на его окончность. Брюки враз промокли, рубашка тоже прилипла к животу, плащ опасно потрескивал. Слякотно, стыло... Редко удается в Глинке снимать каланов с такого расстояния — там, поди, и тридцати метров не было. Ожидая любопытного момента в поведении зверя, взведешь затвор фотоаппарата и смотришь — как в подзорную трубу. Вот мать нырнула за ежами, а медведка остался на поверхности, лежит неподвижно — ни дать ни взять мохнатый коричневый поплавок.

Медведкой зовут детеныша не зря: сходство с медвежонком издали полное. Да и мамаша со своим чадом обращается словно девчонка с плюшевым мишкой: лежа на спине, поднимает его над собой, крутит и так и эдак, лижет, растирает любимому дитяти мордочку. Наконец медведка не выдерживает: вырвавшись из цепких объятий матери, бежит по ее животу и плюхается в воду. Торжествует, лежа неподалеку. Мать утомилась, решила заняться своим туалетом: отжиманием складок «шубы», взбиванием их, даже как бы легким массажем... Тщательности, с которой она это делает, позавидуешь.

Тем временем Чугунков в свой «телемар» увидел сценку позабавней. К каланихе, на животе которой лежал медведка, подплыл самец — скорей всего папаша. Дружелюбно обнюхался с супругой. Но медведка учуял в этом безобидном акте какую-то если и не агрессию, то все же явное посягательство на его неоспоримые права.

Он часто-часто начал лупить калана кулачками по

морде. Калану пришлось заплыть с другой стороны — видимо, дело было неотложное. Медведке как поступить? Драться опять не решился, как бы не вышло хуже,— обхватил преданно мамку за шею, притих... Нас тоже не стало слышно, разве только щелкали затворы камер.

Бориса Хромовских терзают между тем сомнения.

— Странно вот что,— говорит он мне, когда мы как-то вновь — и по-прежнему безуспешно — навестили каланье лежбище,— странно, что приплод калана по моим наблюдениям превышает прирост. Да, да, среднегодовой прирост весьма незначителен.

— Но ведь возросло же стадо за сорок с чем-то лет от трехсот пятидесяти до полутора тысяч голов! — восклицаю я.— Даже до двух как будто...

— Возросло, конечно,— пожимает плечами Борис.— Вы видели, как в сутолоке на Северном или Юго-Восточном лежбище секачи давят черненьких? У калана же совсем иная картина: самка с нежностью относится к детенышу. Все ему: и лучший корм, и условия, и он постоянно на спине у нее, когда мамка плавает. Практически болей детенышу, когда он окружен такой профилактикой и заботой, неотчего. И мы совсем не имеем случаев, когда бы мертвых — предположим, от какого-либо заболевания — детенышей выбрасывало на берег. Скорее выбрасывает стариков. Вот на этом лежбище замечательные условия для наблюдения за каланом. Пожалуй, такого места нет нигде больше в стране. Здесь их можно наблюдать почти впритык на берегу, можно фотографировать,— для этого, помню, мне пришлось одного тронуть палкой, чтобы проснулся и голову поднял,— так вот, на этом лежбище, вероятней все-

го, одни холостяки, а может быть, холостяки и неполовозрелые самки. Во всяком случае, я не видел здесь ни одной самки с детенышем. А может быть, они уходят в другие стада щениться — там, кто знает, спокойней жизнь, там у них что-то вроде яслей, — словом, одни самки с детенышами? А? Может же так быть?

Мечение, кстати, и помогло бы установить перемещение каланов хотя бы вдоль медновских берегов, местные миграции, если они существуют. Ведь нам почти ничего не известно, не знаем даже толком, полигамы они или моногамы. Видите, во-он группка в море, — чем-то это разъединение стада на группки, возможно, обусловлено? А эти вон на ближней скале, явно чуя наш запах, тем не менее в воду не сплывают, им уже все равно. Старики часто подобным образом обособливаются, остаются наедине со своими болячками, со своей старостью. Да и в стаде более пожилые особи не очень-то охотно лезут в воду, чуя непривычный запах — это молодежь паникует, страсть как она полохлива.

Я осторожно спрашиваю:

— А как насчет промысла, до него еще далеко?

Борис презрительно хмыкает, — похоже, что сама постановка такого вопроса его уже раздражает.

— Какой там промысел! Стадо увеличивается медленно. Речь может идти лишь о выбраковке стариков, больных, увечных. Все-таки это и государству прибыль, и стаду не в убыток. Кстати, статью К. об искусственном расселении каланов читали?

Читал. Но пока помалкиваю. Слушаю.

— Ведь что получается у К.? — сердито спрашивает Борис. — На Командорах стадо насчитывает около двух тысяч каланов — и это, мол, переизбыток, зверю недостаточно кормов, так или иначе он будетдохнуть, надо начинать промысел. Но на чем К. основывается, как он

определил, что кормовая база подорвана? Грубо говоря, он ее видел, эту базу, нырял, подсчитывал ежей? Да и откуда он взял, что полторы — две тысячи каланов — это потолок стада, предел популяции? Каланов здесь может быть и три, и четыре, а то и все шесть тысяч.

Гибнет много зверей? Кто сказал, что много? Обычно в течение года с Медного поступает восемь-двенадцать шкур каланов, будто бы подобранных на лайде. Но все ли эти звери были больные или павшие? Напомню, что за них платят вознаграждение — за находку зверя и обработку шкуры. Вот жили однажды зимой в Глинке алеуты — промышляли песка. Привезли в село, кажется, восемь шкур каланов — в большинстве удивительно хорошей сохранности. Где взяли? Нашли на лайде павших и увечных. А не может ли так быть, что между увечных и здоровых прихлопнули? Вполне. Я потом расспрашивал в селе, говорят — вроде больные, вроде старые. Вроде!

Нет, братцы мои, у выброшенного калана шкура вряд ли хорошо сохранится. Не успеешь к зверю прийти в первые несколько часов, иногда в первый же час — и пиши пропало, песцы свое дело сделают. А тут почти все шкуры целые! И уж кто-то ссылается на эти цифры — допустим, восемь выброшенных каланов в месяц, девяносто шесть в год, да только в районе Глинки, а сколько их по всему острову неучтенных? И от этой сомнительной посылки танцуют и уже, глядишь, пишут диссертации, ссылаясь на К. либо на кого-нибудь еще... Бац — и вот вам почти директивно указан предел стада! Но позвольте, кто все-таки проверял достоверность начальной цифры? Оказывается, никто.

Разошелся Борис, вон какой монолог выдал. Да ведь и прав во многом. Ну что вот за бездоказательное утверждение у автора статьи, из-за которой загорелся

весь этот сыр-бор: «...Из стада каланов, обитающего на о. Медном, практически ни одно животное до сих пор не проникло на соседний о. Беринга»? Подобно Хромовских, я тоже вправе спросить: откуда это известно? Автор ссылается на историографа Василия Берха, который еще в начале прошлого века писал: «...Бобры не могут пробыть долгое время в море...», и на американского биолога Кеньона: «Калан никогда не выходит в открытое море». В открытое море — возможно. А вдруг есть основания считать, что выходит далеко в проливы, хотя в целом это для него не характерно? Летом 1962 года, путешествуя в составе одной экспедиции на шхуне «Геолог»¹, я видел двух каланов почти на полпути между островами Чиринкотан и Райкоке (Средние Курилы). Расстояние между этими островами было пройдено шхуной за четыре-пять часов (при скорости в семь узлов). Теперь легко подсчитать, в открытом море были каланы или у берега. И вообще, каким образом они вновь расселились по многим островам Курил, не преодолевая проливов между ними?²

¹ Леонид Пасенюк. Путешествие на белой шхуне. Красно-дарское кн. изд., 1970.

² И наконец, самое свежее сообщение: 25 января 1972 года работникам командорской инспекции рыбоохраны удалось застать на берегу острова Беринга (!!) около сотни каланов. Единичных каланов здесь видели и прежде, наконец десятка два завезли специально с целью реакклиматизации, но встретить сразу сотню было полной неожиданностью. Здесь не может быть двух мнений: эти каланы совсем недавно переплыли разделяющий острова пролив (26 морских миль).

Сразу же по приезде прошлой весной в Петропавловск я наведася к Хромовских в лабораторию морских млекопитающих. Любопытно мне было, как он отнесся к столь необычному известию.

Отнесся спокойно, как будто и эмоции ему были несвойственны.

— Да в общем все нормально, все по науке. По-видимому, ежей в Глинке каланы подчистили — и давай потихоньку мигрировать на

Впрочем, моя задача — лишь сопоставить свидетельства и доводы той и другой стороны, чтобы извлечь из них рациональный смысл. А смысл этот таков, что когда прирост калана достигнет определенного потолка (видимо, это произойдет раньше всего на Курилах), они начнут испытывать недостаток кормов. И начнется падеж. И тогда в этот естественный процесс придется со всей осторожностью (памятуя печальный опыт наших предков, уничтоживших почти все сообщество каланов в дальневосточных морях) вмешаться человеку. Но не прежде, чем будут досконально изучены биология калана, загадки его размножения («Без знания этого, — пишет Алексей Белкин, — уже в недалеком будущем станет невозможным ни определение начальных сроков эксплуатации стада, ни установление допустимой годовой нормы отлова»).

Однако биологией калана при такой его пугливости заниматься чрезвычайно трудно.

— Вот если бы у меня была кормовая база, — говорит Борис, — ну, скажем, если бы я хоть рыбу мог доставать. Вот тогда я постарался бы до известной степени приручить калана либо лучше парочку. Ничего удивительного, так любого зверя можно приручить. Каждый раз в одном и том же месте оставлять для калана рыбу — и у него вырабатывается рефлекс. Он привыкает. А то какая у меня рыба! Если рыбаки с про-

северо-запад Медного. А оттуда в приличную погоду прекрасно виден Беринг. Почему не рискнуть? Причем, заметьте, маток с детенышами в переселившемся стаде нет. Это худо: без самок развития стада не жди. Возможно, придется переселять искусственно. — Он немного помолчал, помешивая ложечкой остывший чай, и добавил с легкой озабоченностью: — Вообще поразительно. Ведь за последние сто лет это первое сообщение о таком числе каланов на острове Беринга.

хожего катера или кто-нибудь еще даст мне одного лосося на еду — и то спасибо, в ножки даже поклонюсь. Тут ведь никакой рыбы — вон голец в ручей заходит, но не всегда, да и поймать его еще нужно.

Хотя каланы — основная забота и привязанность Бориса Хромовских, есть у него и не менее важное дело: наблюдение за котиковыми лежбищами на другой стороне острова. Раз в пять дней он идет туда в любую погоду. В общем тут недалеко, за полтора-два часа до любого лежбища можно добраться, если бы не сопки... а потом еще берегом по камням брести...

Иду с ним в очередной обход. Кулема, как всегда, впереди — с ним и впрямь куда веселей карабкаться по глинистым тропам, заросшим лопушистыми листьями зонтичных растений. Но вот Борис торопливо подзывает его и берет на руки: сбоку тропы важно вышагивает куропадч. Видно, отвлекает от куропадочки, которая сидит где-нибудь ниже травы, тише воды.

— Здесь все-таки мало бывает людей, потому они не боятся, — говорит Борис. — Вот такую природу я люблю, когда зверь и человек взаимно вежливы, взаимно доверчивы, а охота бывает самой разумной, в пределах строгой необходимости. И человечество к этому придет в конце концов, должно будет, вынуждено будет прийти.

Пройдя немного по береговому навалу камней, останавливаемся: дальше идти нельзя. Дальше начинается Урилье лежбище, в основном холостяковое, но есть тут и гаремы. Наша задача — пробраться туда поверху незаметно, спуститься, осмотреться как следует, затем улучшить момент и ринуться вниз с палками... да, да, силами двух человек мы должны произвести неболь-

шой отгон. Но только в том случае, если будет надежда прихватить во время отгона одного-двух-трех клейменных котиков. Нам нужно проверить клейма — откуда пришли эти котики на лежбище Урилье?

Подобрав на берегу бамбуковые шесты, взбираемся на кручу в лоб. Лежбище остается где-то внизу, его почти не видно. Теперь нужно немного спуститься и отыскать в бинокль меченых котиков, если они есть вообще. Они, конечно, должны быть.

Борис долго шарит по лежбищу биноклем и наконец находит среди холостяков одного меченого. В бинокль видно, как поблескивает на переднем лапте узенькая бляшка.

— «Американец», холера его возьми, — говорит он в раздумье. — С Прибыловых островов притопап, верно... Или нет? Может, наш, русский. Громила, а?... Пожалуй, семилетка, не моложе.

«Американец», нет ли — это можно будет узнать только прочитав метку. На Юго-Восточном лежбище есть сетка, сверившись с которой, по определенным литерам и цифрам можно безошибочно определить принадлежность меченого котика к тому либо иному стаду.

Семилетка! Попробуй удержи такую тушу.

Как бы читая мои мысли, Борис вдруг жалуется:

— Секача пометить, знаете, какое дело? Когда у него вес двести пятьдесят — триста килограммов?

Тем временем под нами останавливается только что вышедший из воды глянцеви́тый холостяк и как раз с меткой. Прыгнул раз, другой... ближе к обрыву, на котором мы сидим, еще ближе... Не может сразу найти места, где удобней будет подремать.

— Ну, еще немного, голубчик, — шепчет Борис. — Ну, еще шажок! Вот так, голубчик, вот так. Это ты хо-

рошо улегся. Пожалуй, мы тебя успеем отсечь, прежде чем ты допрыгаешь до воды.

К бамбуку Борис привязал шнур — получилось нечто вроде петли. Петлю нужно накинуть котику на шею, слегка затянуть и прижать его к камням бамбуком. Моей задачей будет дополнительно зажать голову зверю — пусть он грызет мою палку, но даст тем временем Борису возможность наклониться и прочитать метку.

Ползем по траве юзом до самого обрыва — здесь нужно спрыгнуть и бежать очертя голову прямо к воде и поворачивать всех котиков к обрыву, в глубь берега, следя главным образом за мечеными.

И вот Борис дает команду, и я срываюсь вниз, прыгаю на камни (хотя бы не упасть!), вижу только одного кота — того, что недавно улегся, отрезаю его от воды, а тем временем Борис набрасывает на него петлю, но неудачно, петля соскальзывает с лапы, и холостяк прыгает в сторону моря. Бегу за ним следом по осклизлым камням, кот шлепает, разбрызгивая лужи, совсем рядом, и в это время я, поскользнувшись на водорослях, падаю, а холостяк убегает вплавь, смешно прогибаясь в воде и подбрасывая каждый раз лоснящийся задок.

Однако не все еще потеряно, — левее нас холостяки не успели уйти в воду. Грозят палками, сгоняем их к обрыву. Тут и подозреваемый Борисом «американец». Даем котам отдышаться и отдыхаем сами.

Впереди рыкают внушительные секачи — это плохо, попробуй через них добраться внутрь отгона, где есть один или даже два кота с метками. Зажав отогнанных зверей между камнями, оставляем им возможность уходить к воде только одним путем — и на этом пути пытаемся поймать меченого. Он небольшой, симпатич-

ный, в его тускло-голубых, как линзы бинокля, глазах неосмысленность и испуг... Он настолько еще мал, что вместе с ним в петлю попадает сосед покрупнее. Вот же не везет! Меченый выскользнул из петли и попрыгал себе, а немеченый остается.

Возвращаемся домой ни с чем. Теперь мы придем сюда через пять дней и повторим эту малоприятную как для нас, так и для котиков процедуру. Впрочем, для котиков она совсем безопасна (но откуда им знать?), зато нам нужно смотреть в оба: зазеваешься или споткнешься на пути отгона — пеняй на себя. Какой-нибудь может так куснуть, что тут же и хирург потребуется.

Вечером начинает задуть сильный ветер — домик сотрясается от его ударов. В щели сквозит и дует. Сходить во двор за дровами — и то неохота: слишком там зябко.

— Ох, с той стороны и поддает сегодня! — ежусь я.

— Да, — усмехается Борис. — Тихий океан сердится немножко.

Он легонько крутит «Спидолу» — слушает мир. И курит трубку, набитую ароматным «капитанским» табаком.

— А газет и журналов вам не доставляют?

Он кивает на транзистор.

— Да я новостей знаю больше, чем те, кто газеты читает.

По вечерам, когда уже стемнеет, но лампу зажигать лень, Борис играет с Кулемой. Он светит фонариком, дразнит щенка, и тот, обычно редко подающий голос, возбужденно и звонко лает. Затем Борис подсвечивает оранжевый шар, и в избушке становится торжественно-нарядно, как бывает, когда в темноте зажигают лампочки на елке. Кулема прыгает вокруг низко подвешенного шара, бьет по нему лапами — радуется;

видимо, понимает, что маленькую эту потеху затеяли ради него.

Поддразнивая и лаская щенка, Борис крутит «Спидолу» и вполуха слушает передачу «Тихий океан» из Владивостока. Потом, при свече или лампе, садится за машинку. Однако разговор нет-нет да и возвращается к тому, что постоянно занимает мысли: теперь вряд ли удастся пометить каланов.

— Жаль, упустили время,— печалится Борис.— Дождаться бы настоящего шторма. А то ведь легкий шторм они в капусте переждут, капуста гасит волну.

Я говорю, что читал, будто калан во время свежей погоды привязывается длинными пластинами водорослей. Потом на таком водорослевом поле можно увидеть множество узлов. Сразу и не поймешь, откуда они появились.

— Где вы видели узлы на капусте?— пренебрежительно отвечает Борис.— Выдумки это все. Да, я тоже читал об этом, но на самом деле ничего подобного в природе не происходит. Уж больно умным стараются сделать калана иные авторы. А получается, вероятней всего, вот что: поскольку капуста поднимается к поверхности и, ломаясь под прямым углом, стелется по воде, калан подлезает под ее стебли, и его таким образом не сносит. Возможно, он даже наворачивает стебель вокруг себя, поскольку имеет привычку вертеться как бы вокруг собственной оси, спокойно он лежит редко.

Алеуты промышляли калана и до прихода русских и шили из шкур этого ценного зверя одежду. Но, разумеется, насколько он ценен, определить не могли.

На калана они охотились в апреле — мае, собирая для этого от тридцати до сотни байдар и целой флотилией выходя в море. Замеченного зверя охотники брали в плотное кольцо, и какая-нибудь стрела все равно попадала в голову, сколько бы он ни нырял. Именно тому охотнику, который попал зверю в голову, и доставалась добыча. Впрочем, зверь бывал иногда настолько изнурен преследованием и легкими, но многочисленными ранами, что переставал сопротивляться. В такого слабого зверя охотник пускал стрелу с надутым пузырем, чтобы не утонул. Охота происходила в полной тишине, нарушаемой только свистом стрел. Очень важно было определять всякий раз, в каком направлении нырнул зверь и где он вынырнет, чтобы подстеречь его в этом месте. Раненый зверь, особенно если при нем бывал детеныш, оказывал отчаянное сопротивление, кусался и царапался.

Коцебу свидетельствует, что, если охотник замечал в море самку с детенышем на спине, она становилась легкой его добычей. «Дело в том, — пишет он, — что мать никогда не бросает своих детенышей, хотя они и препятствуют ее бегству, а вместе с самым яростно защищает их от нападения. Оба зубами вырывают из тел бобрят вонзившиеся в них стрелы и даже нападают на преследующих их людей, расплачиваясь жизнью за свою отвагу».

Смелые охотники-алеуты с Лисьих островов били морского бобра и зимой. В это время выюг и штормов он по обыкновению ищет себе укромных местечек в бухтах небольших пустынных островов или на одиноко стоящих поблизости от берега утесах. Убедившись в безопасности, он свернется клубочком и спит. Вот тогда-то два алеута, несмотря на бушующие вокруг утеса штормовые волны, подъезжают на однолучных бай-

дарах к утесу с подветренной стороны, и один из них стоя ждет, чтобы подошла большая волна. Вместе с валом он смело выпрыгивает к подножью утеса, подкрадывается к спящему зверю и убивает его. В это время товарищ стережет его байдару, чтобы ее не разбило о камни и не унесло.

«...Все эти животные были так смирны,— пишет Литке,— что промысел их не требовал иного труда, как идти с дубиной вдоль берега и бить на выбор любого. Это было до того легко, по рассказам, что промышленники имели обыкновение играть в шахматы по бобру за партию, но с тем, чтобы проигравший убил на берегу или на отмели именно того бобра, который выигравшим будет назначен. Промышленники утомлялись легкой добычей».

Именно в те годы шкурами морского бобра обивали царские покои. Впрочем, это могли позволить себе не только цари, но, забавы ради, и иные удачливые промышленники. Доля штурмана Гавриила Прибылова на открытых им островах в первые два года составила две тысячи бобров, сорок тысяч котиков и шесть тысяч голубых песцов. Такой добычи из русских промышленников не знал никто. Обогащались они баснословно, хотя, впрочем, далеко не всем богатство шло впрок, далеко не каждый, подобно Шелихову, мог извлечь из прибылей не только коммерческую, но и политическую выгоду.

С течением времени промысел каланов все усложнялся, и на смену алеутской «стрелке» («иглах») и байдаре пришел на острова вместе с американской компанией «Гутчинсон Кооль» ружейный бой с вельботов и охота ставными сетями. Быстрому истреблению каланов способствовала их доверчивость. Когда-то они спокойно шли на огонь костров, брали пищу у человека из

рук. Сейчас в это трудно поверить. Видимо, калан усвоил наследственную информацию об опасном нраве человека настолько прочно, что нынче зверя никакими коврижками не приманишь¹. Разве только понаблюдаешь за ними издали. За тем, например, как этакий шелковисто-лоснящийся увалень, захватив лапками задний ласт, неумоимо его растирает — возможно, ощущается в нем что-либо ревматическое. Потом, завалившись на спину, начинает растирать живот и грудь. Потом полежит неподвижно, как бы отдыхая. Потом почешет себе лапкой-кулачком затылок — и вновь примется за массаж, начиная с задних конечностей.

Вот он увидел приросшую к рифу гроздь мидий, повернулся на бок и начал быстро ударять по ней кулачками, пока не оборвались удерживающие ее биссусы. Потом он уже без усилий отдирает каждую раковину губами и поедает ее. Высокой степенью осязания отличаются у него подошвы лапок — именно с их помощью каланы безошибочно находят под водой привычный

¹ Недавно в Петропавловске я показал Борису Хромовских фотографию каланов, мирно лежащих на рифе по соседству с тюленями-антурами.

— Редкая ситуация, — заинтересованно сказал он. — Повезло вам. В смысле научном фотография ценная, может, подарите?

Для меня она никакой ценности не представляла, и я отдал ее. Бережно поглаживая глянец снимка, Борис удовлетворенно подытожил:

— После тех гонений — другого слова не подберу, — которые были когда-то на каланов, они сейчас вроде бы немного оттаивают, выработанные самозащитой рефлексy слабеют. Надо же: каланы вместе с антурами! Значит, между ними никакой агрессивности. Понюхал, говорите вы, отошел и улегся себе?.. И ноль внимания?.. Вот еще с человеком бы так, без опаски...

им корм. Мы уже знаем, как он расправляется с ежами (предварительно приминая иглы на панцирях, потом продавливая панцири, чтобы легче было поедать содержимое; иногда он выгребает его в рот лапкой). Известны случаи, когда калан, пытаясь добраться до лакомого моллюска, разбивает чересчур крепкие раковины камнем.

Забавные повадки животного и особенности его поведения, зависящие в свою очередь от особенностей биологии зверя и образа его жизни, создавали предпосылки для того, чтобы выделять каланов по «уму» и «сообразительности». Вообще же, конечно, в известной сметливости им отказать нельзя.

Нужно идти в очередной поход на Урилье лежбище, а потому уже с вечера начинаем гадать, какая будет погода.

Утром лег сырой липкий непроглядный туман. Позавтракав, Борис вышел наружу, заметил просвет в небе.

— А что, немного светлей становится,— сказал он, входя.— Мешок с туманом подходит к концу, наверно. Все равно идти нужно, сегодня срок... Так что собирайтесь.

Нам как будто и впрямь повезло — туман не очень докучает, временами проглядывает солнце. Впрочем, даже в туман подниматься в гору душно. А ведь в начале века здесь существовал варварский способ отгона котиков. Их гнали от лежбища Урилье до Глинки через два и для человека нелегких перевала, более высокий из которых достигал 234 метров над уровнем моря. Когда я услышал об этом впервые, то

отказался верить, заявил, что бред все это... а позже прочитал у Суворова! Дело в том, что в Глинке промысловики и жили. Здесь же были устроены все разделочные, засольные приспособления, стояли амбары для хранения готовой продукции.

Эта «голгофа» котиков не поддается описанию — склоны сопок были завалены их трупами; с трупов снимали шкуры, а ободранные туши так и оставались гнить, распространяя зловоние и заражая ручьи, вытекающие из снежников, продуктами разложения. Еще труднее был отгон из бухты Палаты — здесь котиков гнали вверх по крутому склону, кое-где заросшему травой, заставляли зверя мученически взбираться на перевалы до 357 метров высоты и потом уже направляли его вниз, в Глинку. Всего пути-то здесь было до трех километров по прямой (для котика и это невероятно много), но преодоление ими медновского хребта уму непостижимо. Стоит ли поэтому удивляться, что множество зверей гибло от изнурения и тепловых ударов еще в дороге?!

Разумеется, у таких «запаленных» котиков и качество меха неизбежно страдало. Но, возможно, тогда об этом и не подозревали, а следили только за тем, чтобы они «не загорели», то есть чтобы в результате перегрева не наступила смерть. Потому останавливались через каждые несколько десятков метров, давая зверям возможность остыть и отдохнуть. Длился такой отгон, разумеется, очень долго — для котиков это была нескончаемая пытка. Обычно промысловики выходили из Глинки в три часа утра и пригоняли сюда зверя в четыре часа вечера. Причем только в Глинке можно было разобраться уже спокойно, какой зверь подлежал забое, а какой нет. Часть зверей поэтому отпускалась на свободу. Водой они возвращались к себе на лежбище,

чтобы иные из них опять попали в очередной отгон, и так до двух-трех раз за лето! Известен случай, когда отгон из Палаты в 1909 году так и не смогли довести до вершины подъема, очень много котиков «загорело» и пришлось перебить всех их в дороге, а потом переносить шкуры в Глинку на себе.

Впоследствии, когда зверя изрядно поубавилось, его били прямо на лайде близ лежбища, а мясо и шкуры тащили через перевал опять-таки на себе: роли поменялись. И надо сказать, что этим промысловикам-бедолагам тоже никто бы не позавидовал.

К убойному месту в Глинке обычно собиралось с ножами все население, чтобы успеть вырезать лакомые куски свежего мяса, а особенно сердце и почки. Впрочем, ценились и тонкие кишки.

Идем с Борисом через перевал, одежда нараспашку — душно. Не знаю, о чем думает он, а я никак не могу отвязаться от мыслей о тех несчастных котиках-«альпинистах». Кулема устал, путается на узкой тропе под ногами. У него шуба тоже не хуже котиковой, даже на вид теплей, потому что мохната; правда, не знаю, какова плотность меха у собаки, у котиков же она поразительна: около 45 тысяч волосков на один квадратный сантиметр шкуры!

Ничего, ничего, сейчас дорога пойдет круто к берегу под уклон. Потерпи, Кулема!

Задача у нас прежняя: подсчитать, насколько увеличилась численность лежбища за те пять дней, что нас здесь не было, и за счет кого преимущественно: холостяки ли приваливают, гаремы ли пополняются. Но главное — поймать хотя бы одного-двух, если не трех сразу, меченых... Опять сосредоточиваемся на исходном рубеже, наблюдаем лежбище в бинокль, считаем на глазок всех холостяков. Распределяем обязан-

ности... Стараемся заранее предусмотреть возможные оплошности и ошибки.

— Приготовиться!.. Марш!!

Холостяки захвачены врасплох. Мы сейчас, впрочем, не гоняемся за мечеными, а сразу осуществляем отгон скопом, прижимаем всех зверей к обрыву. Осторожно «фильтруя» котиков между двумя глыбами через «решетку» из тех самых бамбуковых палок, наконец зажимаем одного зверька помельче, а потом, с превеликими сложностями, и другого, покрупнее; он зло грызет бамбук, глаза его налиты кровью. Задавленно хрипит. Ничего, ничего, дружок. Пострадай немного для науки. Это далеко не худшее, что может с тобой здесь приключиться. Твое счастье, что ты облюбовал лежбище, на котором пока не ведется промысел.

Итак, прочитаны две метки: Е-2931 и С-3317. Как я позже узнал, никакие это не «американцы». Один кот здешний, медновский, а другой вроде с острова Тюленьего, что близ Сахалина.

— Эти метки для меня очень ценны,— говорит довольный результатами отгона Борис.— Многие утверждают, что Урилье лежбище, если можно так сказать, само в себе. Вот и важно мне узнать, почему оно так медленно растет, в чем причина.

Возвращаемся в Глинку. В последний раз оглядываюсь на лежбище Урилье — правда, с подъема виден только берег, а лежбище осталось за выступами обрывов. Некогда захиревшее и вот потихоньку уже восстанавливающееся, оно одно из самых старых на Командорах. Именно здесь, вдали от Глинки, часто промышляли пираты-котиколовы.

— Я вам сейчас покажу место, откуда алеуты обстреливали всех этих, с позволения сказать, флибустье-

ров,— говорит Борис.— Обзор там неплохой, и патронов кругом полно валяется...

Он вывел меня на залысину, из которой выпирает выветрившаяся каменная порода, и присел.

— Вот они, смотрите...

Действительно, здесь россыпью лежат большие зеленые гильзы от винчестеров и берданок. Лежат они безмолвными свидетелями давних перестрелок добрых шестьдесят лет — и ходят здесь люди, и берут эти гильзы на память, как и я взял, а их все равно не убывает, будто тут настоящая прошла война. Приведу факты, которые убедительно подтвердят, что остров Медный на протяжении многих лет и впрямь находился в состоянии войны если не с Японией как государством — было и это, впрочем, — то уж во всяком случае с гражданами Японии, промышленными у Командор хищничеством, что называется, на свой страх и риск.

Русско-японская война застала острова врасплох. К обороне здесь ничего не было подготовлено. Защита Командор волей-неволей легла на плечи плохо вооруженных алеутов. И надо сказать, что эта задача была выполнена ими с честью.

Характерен эпизод, происшедший на острове Беринга в самом начале русско-японской войны. Караульщики близ Северного лежбища заметили какой-то корабль. Присмотрелись повнимательней — японский. Вскоре оттуда к берегу направилась шлюпка. На носу белый флаг — с мирными целями, значит. Алеуты стрелять не стали.

Беспрепятственно высадившись, японцы подошли к караульным. Был среди них и переводчик, говорил на

ломаном русском языке, реденькие усики пощипывал, в любезной улыбке скалился. Доложил, что японцы хотят осмотреть лежбище в научных целях.

А караульные еще не знали, что идет русско-японская война, и поэтому против «научных целей» ничего возразить не могли. Даже наоборот — пожалуйста, занимайтесь своей наукой. Опустили винтовки, кое-кто уже и разрядил свою... Между тем совершенно напрасно ослабили они бдительность, и поняли это лишь тогда, когда «ученые» окружили караул, отобрали ружья и связали охранникам руки. А после этого «ученые» на глазах у безоружных алеутов взялись поливать места котиковых залежек керосином. Мало им показалось, — стали они стрелять по лежбищу из подвезенной пушки, сгонять зверей в воду. Увлечлись они своим черным делом, а в это время одному алеуту удалось незаметно отойти. Двадцать четыре километра до Никольского он бежал через тундру со связанными сзади руками. И тем неожиданней было для японского десанта стремительное нападение подоспевших на выручку островитян. А стрелки они все отменные, с малых лет вроде как службу несут, под ружьем ходят. Нигде не нашли японцы спасения, всех перебили, кто сошел на берег, да вдобавок захватили трофеи — шлюпку с пушкой.

Но все же основную тяжесть конфликта с японцами вынесло на своих плечах население Медного. Уездной администрации в ту пору на Командорах фактически не было. Н. А. Гребницкий, бессменный на протяжении тридцати лет начальник островов, уехал в Лондон в служебную командировку. Он писал оттуда медновскому старшему надзирателю Николаю Никитовичу Лукину-Федотову: «В случае прихода военных японских судов о вооруженном сопротивлении не может

быть и речи... вы должны заботиться только о поддержании авторитета русской власти и достоинства». Ученый-натуралист, Гребницкий не мог оставаться равнодушным к судьбе бобрового стада и в письме своем уточняет: «...главное внимание должно быть обращено на охрану бобров. В случае нападения японских промышленников (имеются в виду промысловые шхуны японцев.— Л. П.) не следует стесняться стрелять».

Лукин-Федотов вооружил жителей Медного чем только мог — вплоть до дробовиков — и приготовился защищать остров до последнего патрона. (Пользуясь тяжелой обстановкой, сюда наведывались и американцы, но вынуждены были уйти ни с чем.)

В 1905 году остров Медный успешно отразил нападение высадившегося с четырнадцати шхун вооруженного японского десанта; правда, этой бандой много было уничтожено котиков и песцов. В 1908 году японцы сожгли в Глинке караульную юрту, разворовали разную хозяйственную утварь, забрали три тонны угля. Годом позже Глинка вновь подверглась нападению и разграблению.

Но алеутам и родная земля помогала: неизвестно ни одного случая, чтобы в перестрелке был убит алеут, зато японцы всегда несли значительный урон в людях. Вот цифры: с 1906 по 1910 год (хотя война и закончилась, налеты японцев на Медный продолжались и достигли своего апогея именно к 1910 году) произошло семьдесят семь перестрелок, в результате которых было захвачено пятнадцать шлюпок, арестовано сорок шесть и убито девяносто восемь хищников. Повторяю, что благодаря умело организованной обороне, не пострадал ни один защитник Медного.

Впоследствии 68 жителей острова Медного, прини-

мавших участие в отражении пиратских нападений японцев, были награждены медалями на Георгиевской ленте и знаками отличия Военного Ордена, а доблестный отставной фельдфебель Лукин-Федотов за свою безупречную и мужественную службу был произведен в подпоручики.

Я взял на память парочку позеленевших гильз с задысинки, и мы спустились в бухту Бабичева. Было солнечно, и Борису захотелось подробней ознакомить меня со своими «владениями». Места эти не посещались людьми, вероятно, годами, живописная их пустынность как-то даже подавляет человека. Горы добра, выброшенного морем: корабельного леса, бочек, анкерков, ящиков, скомканных нейлоновых тралов, спасательных кругов, буйев, пластмассовых и стеклянных поплавков, костей и хребтов разнообразных морских зверей,— горы такого вот не то добра, не тохлама громоздятся здесь и невольно привлекают внимание. Хочется что-то искать, ворошить, потому что, без шуток, много здесь лежит и нужных в хозяйстве вещей и уж во всяком случае таких, которые настраивают воображение на романтический лад.

Потом клочьями поплыл туман, и волей-неволей пришлось возвращаться домой. Потом просветлело. Потом, когда мы уже спустились к домику, туман опять наплыл, навалился, только уже с другой стороны.

— Ерунда какая-то,— бормочет Борис с неудовольствием.— Дергает эту вонючую сырость туда-сюда, с одной стороны острова на другую. Как будто нельзя дунуть сразу и прогнать туман весь.

Вскоре «дунуло сразу»: начинается волнение, начинается шторм. В белых барашках прошел гораздо мористее Глинки сейнер, повез шкурки в Преображен-

ское. Пора и мне собираться туда же. Только для этого нужно возвратиться назад на Юго-Восточное лежбище и дожидаться очередного сейнера: они ходят между лежбищем и селом довольно часто, пока стоит время промысла.

Обратную дорогу прохожу без приключений. Солнечно, остров просматривается далеко, а кроме того, за семь дней снежники и наледи порастаяли, идти здесь уже можно свободно, без подстраховки со стороны. Словом, иду, веселые песни пою и вспоминаю добрым словом неделю, прожитую в Глинке.

СЕЛО ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ



Ах, Медный, Медный, суровый гористый красавец! Когда-то Василий Головнин, уточнявший географическое положение острова, которое было «не совсем хорошо определено» прежде всего Джемсом Куком, отметил его скудность, дикость и неприступность для человека. А люди, между прочим, живут на острове с времен Головнина и по сию пору.

На Медном, конечно, хватает мрачных мест, но как раз бухта Преображенская выглядит довольно приветливо, и при определенном ветре малое судно может подойти к берегу вплотную; с него опускают трап прямо в песок.

Само Преображенское почти теряется в огромной котловине между хребтов. Громоздится над ним часто скрытая туманом гора Гаванская. По кавказским масштабам как будто и невелика сопочка, но почему-то чувствуешь себя у ее подножья маленьким-маленьким. И всеми забытым. Но это мимолетное ощущение — видимо, оно может появиться только у свежего, еще не привыкшего к здешним местам человека.

Наконец я в гостинице села — это уютный, жарко натопленный домик со свежевыбеленными стенами. На печке стоит чайник с клокочущим кипятком. На полках, занавешенных ситцем в цветочках, лежат в тарелке вареные котиковые язычки, хлеб, печенье, сахар, томаты в банке, разные консервы... Я осторожно, как кусок вареной гремучей змеи, беру язычок котика, ре-

жу хлеб и сажусь в старинное, тронного вида кресло, в котором ходуном ходят пружины. Что ж, мясо как мясо, ничем не отдает, но как вспомнишь орущих котиков во время отгона, и кусок в горле застревает.

Сивуча на Медном едят еще охотней: ласты идут на холодное, не пропадает и мясо, тем более лакомые куски — сердце и печень. Русские даже из нерпы принаровились здесь жарить шашлыки.

В гостиницу меня поселил Александр Алексеевич Волков — он заведует медновским отделением зверокомбината. Практически отделение отвечает за подготовку к дальнейшему транспортированию продуктов котикового промысла да еще обеспечивает в редкие годы охоту на песца. Клеточного песцового хозяйства здесь нет, хотя о нем говорят не один десяток лет.

Уже с первого взгляда ясно, что остров Медный существенно отличается от острова Беринга по условиям жизни. Он более горист, пустынен. Если на Беринге есть стадо оленей, — по медновским кручам оленю не ходить. Если на Беринге люди изредка едят лососину, в речки, точнее, в ручьи Медного лосось почти не заходит; более распространен морской лов. На Беринге около тысячи жителей, здесь их несколько десятков. И привлекательна для глаза только природа — каменно-клыкастая, но иногда ласкающая душу неожиданно нежными сочетаниями тонов и красок.

Так вот, существование Преображенского как населенного пункта для района экономически неоправдано. Влетают в копеечку накладные расходы. До села почти три четверти года не доберешься, связь только по радиотелефону. Проще было бы перевезти все население на Беринг (а из этой командорской глуши он представляется, как обжитой материк, средоточие культуры. Скажем, молодому специалисту, врачу или учительни-

це. Здесь же малоллюдно и никаких впереди заманчивых перспектив, тем более на зиму глядя!). Словом, разговоры о возможном упразднении села идут здесь уже лет пятнадцать.

Добавлю, что Преображенское — исторически сложившееся село с определенным лицом и укладом. Оно дорого многим алеутам. И старики, например, возражают против переезда, не хотят расставаться с селом, не хотят покидать остров. Они к нему привыкли. Вросли в его каменистую почву. Медновский воздух им милее всякого другого. Не так-то легко менять на старости лет привычный строй жизни. И Советская власть говорит им: хорошо, пойдем вам навстречу, живите себе на Медном.

Что ж, наше государство иногда сознательно идет на убытки, оно их учитывает в своих народнохозяйственных планах. Идет на убытки, чтобы получить моральный либо политический эквивалент.

Понятно, в любом случае придется добиваться такого положения, чтобы население Преображенского круглогодично было занято полезным трудом (сейчас преимущественно только сезонная занятость). Не могу судить, стоит ли связываться на Медном с клеточным песком, это дело специалистов, им виднее. Но вот я слышал, сейчас в районе прикидывают, что неплохо было бы организовать у медновцев норковую ферму. Словом, пока взвешиваются все «за» и «против»... Ну а отделение зверокомбината здесь существует постоянно¹. И давным-давно живет на Медном Александр Алек-

¹ Все-таки уже не существует. Это почти равнозначно упразднению села. В нем, правда, функционирует метеостанция, а вокруг нее волей-неволей группируются маленькая пекарня, маленький магазин, фельдшерский пункт...

Неожиданная перемена на островах вывела меня из душевного

сеевич Волков — человек обходительный, с приятно-рокочущим голосом артиста эстрады. И дети у него приятные, девочки — у иных в лице пробивается алеутская смуглость, иные совсем русские с виду (Волков женат на алеутке).

Мои соседи по гостинице — врачи-стоматологи из Петропавловска, приехавшие лечить медновцам зубы. Работы, надо сказать, у них хватает — но, улучив момент, упоенные островным воздухом, они убегают на берег, стреляют птиц, дурачатся, щелкают затворами фотоаппаратов. Даже камчатскому жителю на Медном как-то чудно — будто во всем решительно, в каждой подробности новая земля открывается.

В обеденное время кто-то стучится в дверь. На поро-

равновесия. Пошел к Василию Андреевичу Дергунову — секретарю райкома, — как же, мол, так?.. Я уже говорил, что Василий Андреевич — человек на островах новый, приехал только-только... Но он сказал достаточно категорично:

— Я против упразднения отделения комбината на Медном. С укоренившимся мнением районных властей согласиться не могу. Нам нужно заселять окраины страны, такие вот места, это наша политика, наша программа. Ну и конечно, всемерно способствовать развитию производительных сил на местах, как бы они подчас ни были незначительны, эти силы.

После его слов у меня немного отлегло от сердца.

— Да что ты переживаешь, — сказал мне позже Дмитрий Чугунков. — Не будет на Медном села? Может, это даже лучше — заповедность острова упрочится, меньше там будут по бухтам шастать, браконьерить, калана пугать.

Вот еще один подход к проблеме. Тоже резонный. Но ведь эдак, для большей заповедности и экономической выгоды, можно весь район упразднить, а алеутов на Камчатку перевезти. Оттуда и на промысел приезжать....

— Зачем такие крайности, — усмехнулся Чугунков. — Национальный алеутский район был, есть и будет. И вообще в наши дни это смешно звучит — необитаемые Командоры. Когда Арктика становится обитаемой.

ге — вихрастый мальчуган с фуражкой в руках, доверху наполненной птичьими яйцами самой необычной расцветки. Будто расписанные «под мрамор», будто нарочно кто-то небрежно выжимал из тюбика на каждое яйцо полосочки краски. Вспоминаются строчки из «Командорского письма» Фазиля Искандера:

Базары птичьи посещаю,
Цветные яйца поглощаю.
(Цветными яйцами пасхально
Несутся птицы здесь нахально).

Оказывается, стоматологам захотелось отведать даровой яичницы, и они попросили мальчишек принести им яиц. Между тем доставать яйца на медновских кручах очень трудно — впору и сорваться. Обычно этим занимаются страхуясь веревками, но не думаю, чтобы ребятня прибегала к страховке — им гордость не позволит.

Бесконечно близ утесов Медного висит шелест птичьих крыл: трепещут в полете растрепанные бакланы, стремительно шуршат в воздухе кайры с четкими яйцевидными туловищами (полная обтекаемость, перья пригнаны плотно), красноклювые топорки... Внешность у топорка хоть куда: красные перепончатые лапки, черная с коричневым отливом спина и грудка, а от глаз тянутся ввёрх и загибаются такими мягкими косичками два пучка белых перьев.

Примечательная птица и глупыш, хотя, пожалуй, не внешностью своей, довольно ординарной, а скорее из-за вкусовых качеств. Да и яйца у него, каждое из которых весит почти сто граммов, отменно вкусны. Глупыш хорошо летает благодаря мощным крыльям, они даже не дают ему толком подняться с ровной земли, и он предпочитает уступы скал и уже в падении схватывает

поток воздуха. Но он не может нырять. Крючкообразный клюв у него как бы перебит — наружу торчат трубочки ноздрей (как и буревестник, он относится к так называемым трубконосам). Оперенье дымчато-серое, грязноватое. Словом, никакого сравнения с морскими попугаями — ипаткой или топорком! Зато к нему можно вплотную подойти, птица доверчивая, и накрыть сачком-чиручем. Таким образом глупышей ловят на Медном много. Здесь он имеет наибольшее промысловое значение — и по праву: иные говорят, что у него мясо не хуже свиного, а иные — что, пожалуй, оно и куриному не уступит. Медновцы из мяса глупышей варят вкусные пельмени, засаливают его на зиму. Пухом глупышей набивают подушки и перины.

На зиму птицы улетают, и на островах остаются разве утки-каменушки, кряквы, лайденные кулички (песочники), а в тундре забавные пуночки, которых местные жители называют снегирьками, и куропатки, сменившие свой пестренький наряд на белые перьевые шубки. Зимой встречается в устьях рек и гусь-белошей, питающийся на лайде рачками-бокоплавами.

Суворов, еще в свое время, обратил внимание на чересчур избыточный промысел здесь птицы («...временами, особенно весной при первом появлении птиц, на Медном идет такая пальба, как будто бы наступает неприятель»). Птиц били не только из ружей, но и прямо выбирали из гнезд.

Сейчас нет и в помине прежних птичьих базаров. К сожалению, мы с большим опозданием прислушиваемся к разумным предостережениям. Но не все еще потеряно, тем более, что отстрел птиц здесь уже не столь интенсивен, как в прежнее время. Нужно привести его в какую-то определенную норму, не бить птиц ради

забавы и потехи, как это мне приходилось не раз наблюдать.

На Юго-Восточном лежбище мне рассказывали, что добыча из 12—15 бакланов, почему-либо не использованная промысловиками, просто-напросто выбрасывалась. И это в то время, когда любому известно, что краснолицый баклан, так же как и красноногая говорушка,— виды эндемичные, то есть сохранившиеся в незначительном количестве, хорошо, если не только на Командорских островах. («Надо ставить вопрос, чтобы охрану птиц поручили нам,— сказал мне работник командорской рыбоинспекции Валя Пинигин.— А то ведь эти бедные птицы нынче бесхозные, ни у кого о них голова не болит. Вот вы говорите, морская корова истреблена... Да разве только она? Была на островах исключительно ценная птица — палласов баклан. Уже больше ста лет, как ничего о ней не слышно. Уничтожили. Еще бы не уничтожить: шесть килограммов веса и мясо — пальчики оближешь. Да и мишень крупная: что ни выстрел, то в цель».)

Будучи однажды в Ленинграде, я специально пошел в Зоологический музей АН СССР, чтобы взглянуть на скелет морской коровы да заодно уж и на чучело этого баклана (хоть чучело осталось — даже, кажется, два). В экспозиции музея его не оказалось,— пришлось искать в лабораториях Института зоологии. Наконец нашел. Увидел. Действительно, птица была внушительная, длина тела сантиметров 80—90, размах крыльев свыше метра. Пожалуй, не очень-то и красивая — черная, с зеленовато-синим отливом оперения.

Идут споры, летал этот баклан или нет. Похоже, что все-таки летал.

Уже не летает.

В Преображенском сошелся с мальчишками-алеутами. Для начала они угостили меня чимичками. Это маленькие иссиня-черные моллюски, которыми густо обрастают все прибрежные камни. Живут по двуединому циклу: прилив-отлив; ни вода их не пугает, ни сушь... Минут пять их кипятят, а потом сыплют в карман, как семечки. Пойдешь вечером в клуб — все этими чимичками шелестят. Правда, извлечь чимичку из раковинки довольно сложно: нужна иголка или булавка. Зато выковырнул — и сразу в рот, никаких отходов.

Мальчишек трое: Антоша, Боря и маленький, черный как жук, Женя.

Взрослого народу в селе сейчас почти нет, все уехали на промысел, а работы стало значительно больше — опять же в связи с промыслом. Вот ребятня и помогает старшим управляться на варке жира, на мойке и отжиге шкур. Моих новых знакомых за это уже и в «Алеутской звезде» хвалили...

— А в Корабельной бухте вы были?— спрашивает Женя.

— Нет, не привелось.

— Говорят, красивая бухта,— вздыхает он.— Там корабли могут брать воду, подходя к скале вплотную: только протяни шланг к водопаду и бери. И еще там когда-то корабль потерпел крушение, затонул, что ли,— неизвестно чей...

Они бродят со мной почти повсюду в ближних окрестностях, рассказывая о том о сем, о художнике, который приехал на остров и рисует картины в сопках.

— Мы ему помогали втаскивать на скалу все его хозяйство,— говорит Боря.

— А железный песок вы видели?— интересуется

между тем неугомонный Женья-маленький.— Знаете какой — его магнит притягивает. У нас на острове все-о есть. А перламутровую раковину? Покажи, Антон, какую ты нашел. А медь? Вот пойдем к Антону, он вам покажет. А кислую траву вы ели? Вот попробуйте, советую.

Я говорю, что Стеллер этой травой спасал от цинги своих товарищей по несчастью. Им, впрочем, все, что касается плавания пакетбота «Св. Петр», приблизительно известно.

— Вы книгу будете писать о Командорах? Как она будет называться? «Командорские острова»?

— Еще не знаю.

— «Острова в океане»,— авторитетно заявляет Женья.

— Можно и так,— соглашаюсь я,— только островов в океанах много, звучит как-то общо, ребята. Ну, словом, я еще подумаю, как назвать книгу. Главное, написать ее,— с названием будет легче.— Заранее предугадывая ответ, спрашиваю:— Ну как вам здесь, на таком маленьком и холодном острове, нравится? Все-таки ни теплого моря, ни фруктов...

Женья говорит по привычке взросло, даже как-то, я бы сказал, плакатно, но к этим его словам относишься как к чему-то само собой разумеющемуся:

— Мы привычны к суровой жизни. Жары не переносим.

Это справедливо. Стоит только посмотреть, как они купаются в ямах-углублениях после отлива, где температура воды в лучшем случае плюс восемь-десять. Женья любит свой остров и, подобно многим другим, уверен, что лучше земли нет.

— Я здесь родился и вырос,— заявляет он немного погодя,— я не могу плохо говорить о своей земле.

Формулировки у него отточенные и логичные, а вообще-то он мальчишечка шептунной, любит и поддураться. В такую взрослость он скорее всего играет.

Ребятня предоставлена на острове самой себе, что в свою очередь определяет открытый нрав, приспособленность к неприхотливости бытия. Родители мало следят за тем, чем дети заняты и где бывают. Конечно, их жизнь в той или иной мере контролируют школа либо школа-интернат. Да и летом, кто постарше, уже тянется к промыслу. Однако времени хватает и для того, чтобы пообщаться с природой с глазу на глаз.

Разумеется, и такое вот любопытство к каждому, кто приезжает сюда, а тем паче, если это художник, фотограф-анималист или кинооператор, у них вроде метода познания иного мира, приобщения к нему. Отсюда и то множество вопросов, которыми мальчишки обычно забрасывают приезжего.

Лето сюда пришло с запозданием, долго лежал снег, стояли холода. Но вот склоны сопок стали нарядными — буйно пошли в рост цветы, обозначились среди терпкой зелени бутоны синих ирисов, ромашки. Скоро, уже вот-вот, лилово разукрасят здешние горные плато луговая герань, анемоны (алеуты называют их «орлиными цветами»), они характерны тем, что когда-то, уже и не припомнить, как давно, ими пользовались в качестве наживки), желтые купальницы и, наконец, популярная на всем Северо-Востоке нарядная бархатистая, с нежным переходом оранжевого цвета в шоколадно-коричневый лилия-саранка, клубни которой съедобны. Не говоря уже о вездесущих борщевике, достигающем здесь двух метров высоты, и шеламайнике.

Цветы Медного и могилы Медного... На кладбище

я забрел случайно, когда ходил по сопкам, наблюдая неистовое, готовое пробрызнуться (и частью уже пробрызнувшееся) красочными лепестками разноцветье.

Может, я и прошел бы мимо, если бы меня не привлекли мраморные надгробия и даже настоящие маленькие памятники, разбитые, исчербленные. Откуда здесь мрамор, эти богатые надгробия? Их привозили, видно, очень издалека, платили большие деньги.

О чем, казалось бы, может рассказать могильная мраморная плита, ну вот хотя бы эта:

КСЕНИЯ ХАБАРОВА

27 ЛѢТЪ

ум. 16 Мая 1890

ЕЛЕНА ХАБАРОВА

19 ЛѢТЪ

ум. 28 Сент. 1891

Внимательному наблюдателю она может рассказать о многом. О том, например, что родители этих сестер-алеуток были достаточно обеспечены, хотя бы летом, во время промысла, и могли позволить себе роскошь заказать великолепное надгробие — общее для двух умерших ранней смертью дочерей. Но, вскользь свидетельствуя о временном достатке, мрамор прямо-таки кричит глубоко врезанными в него цифрами о постоянной нищете того же самого алеута, о беззащитности перед лицом судеб, перед болезнями, способными вырвать из жизни в два смежных года одну за другой девушек двадцати семи и девятнадцати лет! Это выглядело бы

всего-навсего предположением, но ведь могил совсем молодых еще алеутов здесь много!

Этот мрамор украшает кладбище — сейчас, кстати сказать, запущенное, с разбитыми надгробиями. И жаль, что нет никакого мрамора на могиле героя русско-японской войны подпоручика Лукина-Федотова. Лежит лишь ржавая плита — «От товарищей, сослуживцев и почитателей».

Где-то здесь и могила Александра Черского. Но следы ее затерялись, по крайней мере, я так и не нашел ее. Кстати, о нем стоит поговорить более подробно.

Александр Черский — сын знаменитого путешественника. Естествоиспытатель. Работал на островах в трудное время 1915—1920 годов. В суждениях о Черском нет достаточной ясности. Я далек от мысли внести наконец эту ясность, — мне хочется только проследить вместе с читателем некоторые вехи его командорской биографии, начертить пунктиром кривую его поступков и деяний.

Отец Александра Черского был сослан в Сибирь за участие в польском восстании 1863 года. Талантливый ученый, он использовал годы ссылки для всестороннего изучения Сибири, занимаясь здесь в основном географическими и геологическими исследованиями. Одно время он мечтал о поездке с Дыбовским¹ на Камчатку, но выехать тогда ему не разрешили. Впоследствии, уже по истечении срока ссылки, он был приглашен на работу в Академию наук и стал во главе организованной ею Индигирско-Колымской экспедиции, сделавшей имя недавнего ссыльного революционера-поляка прослав-

¹ О Дыбовском ниже.

ленным в истории путешествий (как и предыдущие исследования Саян и Прибайкалья). Снаряжение экспедиции в те края было давней его мечтой. Он взял с собой в трудную дорогу и сына, чтобы с малых лет привыкал к невзгодам и тяготам жизни путешественника-исследователя. Ныне в бескрайних просторах Северо-Востока страны есть хребет Черского, есть и поселок Черский в низовьях Колымы (бывш. Нижние Кресты).

Сын у Яна Черского родился еще в ссылке, в дороге — когда в Иркутске вспыхнул большой пожар, и оттуда началось бегство. И это символично: жизнь Александра начиналась в смятении, в беде, и нелегко, в муках, в упадке духа, она угасла.

Александр успешно закончил после смерти отца гимназию в Петербурге, затем естественное отделение физико-математического факультета университета и сразу же уехал работать в край, ставший ему близким, собственно, на свою родину: он получил место консерватора в музее Владивостока. Перед ним открылись таежные дебри Приморья и Приамурья, где он занялся изучением фауны. Уже в зрелом возрасте, в 1915 году, возможно, помня об интересе отца к суровым землям Севера, возможно, преследуя свои личные научные цели, он пишет заявление управляющему государственными имуществами Дальневосточного края: «Узнав, что на Командорских островах открывается вакансия на должность смотрителя над рыбными и пушными промыслами и имея горячее желание послужить нашей далекой окраине в интересах ограждения природных богатств от хищнического их истребления, а также изучить биологию морских промысловых животных для установления правильных мер их эксплуатации, обращаюсь к Вашему превосходительству с предложением и покорнейшей просьбой доставить

мне возможность приложить мои силы, знания и семилетний опыт по изучению природы нашего края представлением меня к назначению на должность смотрителя над рыбными и пушными промыслами на Командорских островах».

Он поселился на Медном и жил здесь, с небольшими перерывами, до самой смерти. Жена, кстати сказать, с ним на Командоры не поехала.

Февральскую революцию Черский принял с радостью — царизм, причинивший их семье, прежде всего отцу, столько страданий, был ему ненавистен. Однако в последовавших вслед за тем событиях он разобраться так и не смог — во всяком случае, политические взгляды его были довольно нечеткими. Скорее всего, он старался, сколько мог, стоять вне политики, но в обстановке тех лет это не всегда удавалось. Либо ты с народом, либо ты против него — так стоял вопрос. Он был с народом — об этом свидетельствуют теплые воспоминания командорских стариков о нем, его деятельность, всецело направленная здесь на организацию пушного хозяйства с учетом достижений биологической науки, его доброта и готовность всегда прийти на помощь нуждающимся. Алеутка Е. Старчак вспоминает, что Александр Янович лечил на Медном жителей, хотя это не входило в круг его обязанностей. Но ведь здесь не было даже медпункта! («Сам был и за фельдшера, и за санитарку».)

О доверии алеутов к этому человеку говорит и факт избрания его в мае 1917 года сперва помощником, а впоследствии комиссаром Временного правительства на Командорских островах.

Во второй половине 1918 года Черский уезжает во Владивосток для работы в управлении рыбных и морских зверопромыслов края. Здесь он пишет книгу

о командорском песце. Она была издана в Токио и ныне представляет библиографическую редкость. В июне 1919 года во Владивосток прибыла делегация алеутов — уполномоченных островных сельских обществ. Они имели претензии именно к колчаковскому управлению, где работал Черский. Встреча Александра Яновича со старыми знакомыми и друзьями была радостной.

После воспоминаний и взаимных расспросов о житье-бытье, после толков о нуждах островного населения алеуты дружно предложили Александру Яновичу возвратиться к ним.

Видно, и для него жизнь на Командорах не прошла бесследно, а приобретенный там опыт ученого не мог вылиться лишь в издание книги о песце — много еще научных замыслов было у пытливого биолога. Черский возвращается на острова в качестве заведующего промыслами.

Жилось в то время на островах неуютно и трудно. Даже чисто человеческие положительные качества Черского, его доброта и отзывчивость уже были явно недостаточны, чтобы к нему относились с прежней любовью и пониманием. Тяжелое положение Черского усугублялось еще и тем, что помимо заведывания промыслами он вынужден был осуществлять в Командорском уезде и административную власть (положенный в уезде управляющий во времена колчаковщины так и не был сюда прислан).

Словом, Черский терял популярность среди населения, отдельные его распоряжения саботировались, и он упал духом. В противоречивой обстановке на островах и тем более в том, что происходит во всей огромной России, он так и не сориентировался. Правда, после свержения колчаковщины, чуть только началась навигация и восстановилась связь с материком, Черский

перестроил здесь свою работу в соответствии с указаниями большевистского облисполкома Камчатки.

А потом пришла осень 1920 года. И опять на Камчатке установилась власть белых...

Черский принял морфий. Трудно сейчас судить, был ли этот крайний шаг только следствием трагического непонимания того, что происходит в стране, душевного разлада с самим собой или же он усугублялся и мотивами глубоко личного порядка.

Население тяжело переживало эту утрату. Говорят, что хоронили его с почестями.

Александр Янович оставил завещание, в котором, к сожалению, не привел мотивов, вынудивших его к самоубийству, а просил лишь в его смерти никого не винить, личные вещи распределить между людьми, с которыми он близко сошелся на Медном и которые помогали ему в работе. Свои рукописи он завещал какому-либо научному обществу Владивостока, и они действительно были увезены с острова в 1921 году сотрудником владивостокского музея. Ныне всякий след их потерян.

Безвременная смерть Александра Черского (ему был всего лишь сорок один год) не дала ему завершить начатых исследований, которые, вероятно, представляли бы значительный научный интерес.

Я искал на Медном участников стычек с японцами в 1905—1910 годах, но слишком много воды с тех пор утекло. Зато познакомился с умным и красивым стариком Александром Феоктистовичем Паньковым (дедушка Паюк, как его называет молодежь). А так как защищали здесь остров все от мала до велика, полагаю, что и он, тогда еще салажонок, подносил старшим бое-

припасы и еду. По крайней мере, он здесь едва ли не единственный, кто еще помнит героя обороны подпоручика Лукина-Федотова.

Паньков до революции уехал с островов и плавал одно время на «Адмирале Завойко». В гражданскую партизанил в районе Сучана в отрядах Сергея Лазо. Был ранен. Лоб у старика рассечен штыком — память о встрече с интервентом-японцем во Владивостоке.

Закаленный моряк, возвратившийся на острова еще в 1925 году, живет он аскетически. Железная кровать. Стол. Стопка книжек. Журналы по подписке. Репродуктор. Со стенки ослепительно улыбается кинокрасавица певица Дорис Дей — наверно, племянница повесила. Живет он вроде бы один, но родственников много, здесь почти все между собою родственно связаны.

С удовольствием запечатлел на фоне Преображенской бухты его прокопченно-темное, из тех, о которых говорят — бронзовое, лицо, резко иссеченное морщинами, благородно оттененное сединой стриженных ежиком волос.

Алеуты в большинстве своем упорные домоседы. Нередко из их поведения можно сделать вывод, что Командоры и впрямь лучшее в мире место, все остальное вряд ли даже достойно внимания. Если красавец алеут Миша Т. и соблазнился материком, поехал с медновским председателем сельсовета Иваном Строгановым на его родину под Ярославль, то для того, вероятно, чтобы раз в жизни посмотреть, что такое большое отечество его Россия. А заодно уж и жену на Медный привез ярославочку, разговорчивую, веселую, лицом, жестами и голосом похожую на известную до войны актрису Янину Жеймо.

А вот Иван Строганов, наоборот, женился на алеутке и уехал к себе на Ярославщину, но был уже отрав-

лен «островным микробом», названия которому ни в какой науке пока нет. Года два пробыл он дома и возвратился на Медный. Вот уже сколько лет здесь, — домик построил, уезжать не собирается, разве только на Беринг, если решат перевезти село. Ну а пока председательствует. Работы председательской не так много — что ж, поступает партия шкурок, и он вместе с рабочими становится за их мездрение; тем более, что кому-то ведь надо, народа в эту пору в поселке почти нет.

Между тем время бежит, и пора мне уже возвращаться на Беринг. Но, как назло, пока я жил в Преображенском, была чуть ли не штилевая погода, а теперь заштормило. Есть еще слабая надежда на то, что шторм сейнер переждет, однако тут существует жесткое рабочее расписание: незначительным волнением капитаны попросту пренебрегают. Для меня же, страдающего морской болезнью, самый малый шторм на такой легкой посуде, как сейнер, уже явление весьма тревожное.

Впрочем, неприятности на море бывают разного характера. Мало ли мы о них читали?

Видно, и не чаял Иван Федорович Скрипников — нынешний заместитель директора зверокомбината, что придется стать моряком поневоле. Лет пятнадцать назад возвращался он с районной партийной конференции к себе домой, на Медный. По оплошности вовремя не запаслись водой. Решили свернуть в Саранное, — заодно там можно было взять у заготовителей копченых лососевых «пупков». Но начался шторм, и к берегу пристать не удалось.

Иван Федорович дал указание от мыса Вакселя взять курс напрямик домой: не очень дальняя дорога,

можно потерпеть и без воды. Потом он немного зачитался и не заметил, как вздремнулось. Очнулся, а на руле стоит алеут Павел Зайков¹, в некотором роде шкипер катера. Ну, стоит себе — и ладно. Только к вечеру Иван Федорович вслух засомневался, что вроде бы катер идет правей, чем нужно.

Решили постоять, поскольку утро вечера мудренее, да и осмотреться можно будет спокойней. Однако, несмотря на уговор, Зайков ночью опять запустил двигатель и опять взял неверный курс. Так что утром катер оказался в открытом море, вдали от каких бы то ни было берегов.

Обычно беда одна не ходит. Вскоре начались неполадки в машине: штормило, и проникшая соленая вода разрушила гильзу поршня. В юности Иван Федорович работал трактористом на Дону в зерносовхозе «Гигант», поэтому в технике разбирался. Выпрессовал он разрушенную гильзу, извлек из нее поршень и шатун и вогнал внутрь заглушку, чтобы вода не попала в картер. Остались три рабочих цилиндра — но как бы там ни было, катер потихоньку пошел дальше. А куда, этого уже никто сказать не мог. Искусных мореходов среди пассажиров не оказалось.

¹ Вот пишу: Павел Зайков, а вспоминается что-то давным-давно читанное о Потапе Зайкове. Почти каждый алеут носит фамилию какого-либо русского казака-морехода, иногда знаменитого. Это следствие дружеских и семейных уз алеутов и русских еще в далеком прошлом. Направляясь в 1772 году к Алеутским островам, упомянутый Потап Зайков, подобно многим его предшественникам, зазимовал на Командорах.

В истории русских открытий в этой части земного шара он известен как искусный штурман, прошедший в труднейшем плаваннии целых семь лет, положивший на карту многие острова Алеутской гряды. Так вот, Павел Зайков, возможно, потомок этого русского морехода.

Только на седьмые сутки бедствующее суденышко вынесло к мысу Шипунскому на Камчатке. Полное неожиданностей плавание завершилось, к счастью, благополучно. А то ведь могло и в другую сторону понести, куда-нибудь к Гавайским островам, в океан...

Словом, взойдя на сейнер, я приготовился пережить несколько неприятных часов, числом не более десяти. Их набралось едва ли не двадцать, потому что волна основательно лупила в левый борт, заливала палубу и надстройки, и решено было взять правее пролива, обогнуть остров Беринга с севера, а затем уже спуститься вниз к Никольскому.

Фред Челконов подарил мне искусно выполненное чучело топорка, и я полез с ним на крошечный спардек, захлестываемый водой (но лезть выше некуда было, разве что на трубу или мачту). Чучелу не нашлось места в душном кубрике, где все ходуном ходило, но и на спардеке его заливало, беспощадно взлохмачивало перышки. Я уже ничем такой беде не мог пособить, так как и сам страдал за какие-то грехи. Причем не только физически, а еще и от сознания того, что я единственный из всех пассажиров подвержен морской болезни в такой активной форме. Даже рыжая девушка-алеутка (впрочем, поскольку рыжая, значит, не совсем алеутка) переносила эту напасть стойко.

Кое-как разыскал меня в моем добровольном изгнании парнишка-механик (было опасение, не смыло ли пассажира за борт) и вручил тяжеленный тулуп.

По крайней мере стало теплее.

Сошел я на пирс и твердую землю под собой ощутил как высший дар судьбы. Со свежестью необычно-

венной ощущаю я после опустошительных морских
вояжей всю несказанную прелесть пешей ходьбы.

Остров Беринга! Я тебя от всей души приветст-
вую.

Я тебе невозможно рад.

И рад, что долго еще буду ходить по твоим увлека-
тельным, в нагромождениях плавника, берегам.

НА ЛЕЖБИЩЕ СЕВЕРНОМ



Заглянул на Северное лежбище к биологам: хотелось повстречаться со старым приятелем Геннадием Нес-теровым.

Кончался промысел: забой котиков, мездрение шкурок, засолка, определение по клычкам верхней челюсти возраста забитых зверей. Знать их возраст ученому важно для прогнозирования добычи холостяков на следующий год. Словом, ребята здесь не ску-чали.

Меня приняли как своего и без околичностей пред-ложили подсчитывать черненьких, то есть приплод нынешнего лета.

Цепочка промысловиков растянулась вдоль всего лежбища и, лавируя между озерками и лужами, начала постепенно оттеснять взрослых зверей в море, сгоняя при этом черненьких в места удобные для подсчета. Детеньши ковыляли не спеша, останавливаясь, блея, принимая угрожающие позы. И уж тем более огры-зались громилы-секачи, а иногда и прыгали навстре-чу. И хотя у нас были палки, смотреть приходилось в оба.

Убегая от агрессивно настроенного секача, я застрял ногой между зазубринами камней и упал. Не знаю, что помешало секачу прыгнуть еще разок и вонзить острые зубы в мое бедро. Но, сделав выпад, тем он и удовлет-ворился. В долю секунды у меня на лбу выступил холод-ный пот.

Подсчет черненьких длился довольно долго — они, бедняжки, основательно переволновались. Поражало, что даже в том беспорядке, который мы волей-неволей учинили, матки находили своих детенышей и в урочный час принимались их кормить.

Международная конвенция по охране котиков, подписанная заинтересованными странами, предполагает, между прочим, и обмен наблюдателями. Поэтому наши биологи бывают за рубежом, знакомятся там с ходом промысла котиков и постановкой научной работы. Мы же у себя на Командорах принимали японцев, приезжали к нам на сезон и американские ученые.

Нестеров размышлял после подсчета.

— Американцы завидуют нашему учету котиков. Точно, мол, дело поставлено. Молодцы, мол... Но ведь это у них скорей всего политика. Что ни говори, мы же этими подсчетами нарушаем спокойствие лежбищ, пугаем зверя. Смотришь, часть и покинет лежбище, будет искать другие берега... те же прибыловские, а?.. Вот американцы нас и хвалят. Ведь у нас не такое уж большое стадо, а у них два миллиона котиков. Два миллиона нет нужды и считать, кроме как приблизительно, на глазок. Словом, они могут хвалить нас без всякого ущерба для собственного самолюбия и собственных лежбищ.

Здесь уже говорилось, что промысел котиков в нашей стране ведется исключительно за счет самцов-холостяков. Забой самок нарушает равновесие сил при образовании гаремов,— по крайней мере, так было до сих пор.

Правительство США все же разрешило у себя на Прибыловых островах забой самок, причем в том же количестве, что и холостяков. Прибыловское котиковое стадо вон как больше нашего! Пожалуй, американцам можно и ошибаться. Однако шведский фотограф-анималист Свен Йильсетер, автор книги «Волна за волной» (М., «Мысль», 1965) считает, что они преступно ошибаются.

Американские биологи, которые, надо думать, не с кондачка решали этот вопрос, а прежде семь раз отмерив, в обрисовке Йильсетеера выглядят довольно-таки непривлекательно. А все поза, дилетантство автора. Разумеется, проще бить самцов-холостяков. И «этичнее», и моралистам спокойней. Но и избыточной бой самцов может привести (и приводил) к резкому нарушению биологических взаимосвязей в котиковом сообществе. Да и потом, есть же все-таки разница, природа ли «позаботится» (наказывая голодной смертью) о наиболее подходящем численном соотношении самцов и самок в стаде, или в этот процесс, руководствуясь разумными мотивами, внесет свои поправки человек! Главное, чтобы мотивы были целесообразны.

В командорском стаде, видимо, еще долго единственно целесообразным будет промысел самцов-холостяков. Вот и хорошо. Хорошо, что многие тысячи черненьких (детенышей) не останутся сиротами. Ну а дальше будет видно, какие условия промысла навяжет человеку эта самая хваленая природа. Она добра, но она и зла. Безоглядно на нее полагаться нельзя.

А как вообще бьют сейчас котиков? Да так, как были еще в восемнадцатом веке — обыкновенной палкой,

«дрыгалкой»¹. Если не убьешь зверя сразу ударом в переносицу, бьешь уже по затылку — получается кровоподтек; луковицы волос нарушены, и в таком месте мех лезет. Придется обрезать шкурку не от глаз, а дальше по затылку, что, конечно, обесценивает ее. Вот Геннадий Нестеров как раз и стремится освободить промысел от забоя дрыгалкой.

Мы идем с ним по крытой эстакаде, ведущей в самую гущу лежбища. Долго наблюдаем в щелочку за редким даже для таких крупных котиковых скоплений явлением — малышом-альбиносом. Он достаточно окреп, прыгает по лежбищу (точнее сказать — ковыляет), но, боже мой, какая незавидная жизнь ему предстоит! Точно так же, как в школе не дают прохода мальшу с какой-либо малопривычной внешностью, ну скажем, отъявленно рыжему, так и здесь беловато-желтого котика сопровождает толпа черненьких: они задевают его, покусывают, преграждают дорогу. Им страшно любопытно, у них вся мальчишески-жестокая повадка...

Интересуюсь, в какой стадии находятся опыты Ген-

¹ Не всегда их били только дрыгалкой. Я уже не говорю о браконьерской стрельбе по котикам-мигрантам. Ничем не лучше, скорее хуже способ, которым промышляли котиков совсем недавно, в двадцатых годах, индейцы племен квилаут и маках (по свидетельству Стейнегера). С немалым для себя риском индейцы уходили на лодках за 20—30 миль, чаще всего в легкую ветреную погоду, чтобы котики не учуяли их издали. Обычно плеск волн котиков усыплял. Охотник метал в зверя копьё с отделяющимся наконечником и распускавшимся позади линьком. Чаще всего копьё попадало в живот (котики спят на спине, красиво изогнув и сложив лапы), наконечник соскальзывал с рукояти и поворачивался боком. Таким образом, котик оказывался загарпуненным и его, сопротивляющегося, оставалось только подтянуть к борту.

надия по применению дитилина для забоя котиков (этот препарат, имеющий свойства растительного яда кураре, применявшегося в разных целях еще в древности, как раз и призван, по идее молодого ученого, вытеснить с промысла варварскую дрыгалку).

Опытами Геннадий занимается давно, и они уже дали вполне положительные результаты — инъекция дитилина делает котика неподвижным на столько времени, чтобы как раз можно было успеть его умертвить. При этом способе сохраняется почти стопроцентное качество меха. Кроме всего прочего, отгон не будет иметь той, мягко говоря, неэстетической окраски, которая так пугает иных беллетристов.

— Видишь ли, — отвечает он, — дело, так сказать, за техническим внедрением этого метода. Ведь, собственно, опыты я веду на уровне кустарном. Очень неудобно, иглы в нашем инъекторе тонкие, гнутся, а масса котиков во время отгона возбуждена, накатывается валом. Кольнешь которого не совсем удачно, а он, понятно, реагирует на укол, огрызается, хватает бамбук зубами. Словом, нужен настоящий инъектор — скорее всего, металлическая полая трубка, в которой уместились бы и шланги, подающие дитилин, и сам дитилин. А то сейчас колоть зверя, будучи сплошь увешанным всем этим, сам понимаешь... никакой маневренности. Но Камчатрыбпром и ТИНРО, с ведома Москвы, уже дали разрешение на практическое применение дитилина.

— Стало быть, дело только за инъектором? Неужели такая уж сложность — сделать несколько инъекторов где-нибудь на заводе?

Геннадий пожимает плечами.

— Ну да, если бы у нас был свой завод. У нас в ТИНРО инъектор уже сконструирован, чертежи от-

правлены в Москву. Заказ должен быть выполнен в экспериментальных мастерских при рентгенорадиологическом институте. Обещали сделать,— я сам разговаривал с директором института,— но, как видишь, еще один промысел кончается, а воз и ныне там.

Надо сказать, что реакция на предполагаемое нововведение Нестерова здесь разная,— мне пришлось говорить на эту тему не только с автором идеи. Основной упор противниками этого метода делается на то, что «попробуй уколи зверя во время отгона, деликатный и точный укол совсем не то, что палкой по носу стукнуть, да и боязно как-то без палки к ним подступаться, могут и сбить...»

Опасения, не лишённые резона. Но, однако, игра стоит свеч, преимущества нового метода перед прапрадедовской дрыгалкой очевидны.

(...Год спустя с помощью дитилина было забито уже полтысячи котиков, что стало предметом обсуждения на XIII Международной сессии по котикам. Положительный характер этого метода отмечается как американцами (они, уступая напору общественного мнения своей страны, тоже ведут поиски более гуманных и эффективных форм котикового промысла), так и японцами. Сотрудник японского научно-исследовательского Института дальних морей доктор Есида Кодзумото, знакомившийся с опытом работы советских биологов на командорских лежбищах, отметил разработанный Нестеровым способ забоя как очень интересный и обнадеживающий.)

Все дни нудно моросил бус, в конце концов загонял в домик под крышу!

Погода не радовала. Не было дождя, так плотно,

почти не поднимаясь от земли, лежал туман. Разве только во второй половине дня он немного рассеивался. В такие часы я, Нестеров и Вера Максименко, учительница из Петропавловска, приехавшая сюда на каникулы, уходили в тундру либо половить гольца (консервы порядком приелись), либо за морошкой. Для лова гольца нужно было довольно несложное снаряжение: самодельные, на бамбуковых палках, остроги и сапогибродни. Веру мы вооружили удочкой и наживкой (горсточкой гольцовой же икры, изящно упакованной в прозрачный капроновый лоскуток). Теперь, облюбовав подходящий ручей, в котором, темнея упругими спинками, сновали гольцы, в глубокой его части делали запруды из камней; в мелкой рябил галечный перекат, которого рыба остерегалась. Я в высоких сапогах выгонял ее из глубоких мест, а Гена шел навстречу от переката; и так мы сбивали стайку под берег, где гольцы собирались отстояться как бы в укрытии. Тут они и становились нашей добычей: хоть одного да наколешь всякий раз... А Вера неподалеку ловила на удочку гольца помельче — специально для ухи. Приманку в капроне рыба сразу заглотать не могла, а на крючок попадалась. Живо обсуждая подробности азартного промысла, отправлялись домой. Вот это рыбалка, не то что где-нибудь на материке. Гена между тем вспоминал со смехом:

— Был у нас тут Алик — практикант. Ему скажешь: смотри наловил самых ма-аленьких гольцов, да только немного, а он, раб еды, бывало, таких дур притащит, что сам еле жив.

Я уже слышал о нем — когда-то он «в уйке купался».

— Беда была и с грибами, — продолжал Гена. — Однажды Алику не хватило корзины, так он не расте-

рылся, снял штаны — тридцать четыре килограмма при-
волок! Специально взвешивали...

В другой раз отправляемся за морошкой — присыпанная сахаром, она хороша, да вот еще варенье Вера обещала сварить. Морошечные ковры на острове Беринга — это чудо, еще никем не описанное, не отснятое для цветного кинофильма. Вдруг возникает перед глазами усыпанный крупными красными ягодами квадрат (и впрямь словно руками вытканый ковер). Плотность ягоды здесь такова, что даже глазам смотреть больно. Кое-где по границам квадрата, чаще всего со стороны океана, пестрят ромашки, коряво громоздится, нахлобучив мятый берет из кочек, глыба то ли андезита, то ли базальта, белеет вдали прибой. Художника бы сюда...

Полчаса — и вместительный полиэтиленовый пакет полон.

Однако приходит пора расставания с гостеприимными хозяевами. Меня манит к себе мыс Манати — противоположный конец острова. Уж на что Нестерова ничем здесь не удивишь, а все же и он завидует мне.

— Да и как не позавидуешь, — говорит он. — Командоры щедро одаривают всякого, кто здесь не ленится ходить. Пойдешь в одну сторону — морошки нарвешь, пойдешь в другую — гольца поймашь, пойдешь в третью — какую ни то диковину море выбросило. — И смеется. — А вообще тебе не мешало бы иметь какой-нибудь летательный аппарат. Подпрыгнул — и вот он мыс Манати! А то пока еще докарабкаешься туда, ведь на каждом шагу скалы-непрóпуски.

— Сам подумываю об этом. Действительно, нужен такой реактивный попрыгунчик: нажал на кнопку, а через минуту включил тормозную установку.

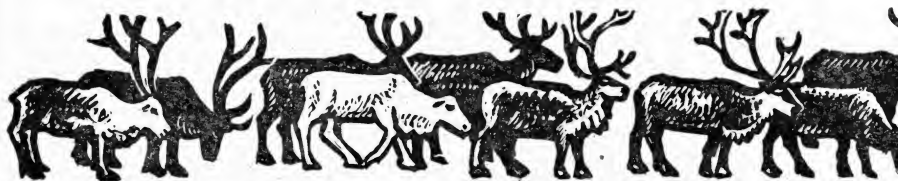
— А чего ж? — смеется Гена. — Можно пилу «Друж-

ба» приспособить. Моторчик в ней для начала есть. Остальное уже от сообразительности...

Не было бы других забот, он и сам махнул бы со мной на Манати. Однако недосуг. Тут еще от туристов отбою нет: едут и едут сюда экскурсии, то приходят неорганизованные одиночки. И всех их надо водить на лежбище, показывать, рассказывать. Не поведешь — сами пойдут, от этого избави бог...

Но о туристах в следующей главе.

ПОХОД
К МЫСУ МАНАТИ



Перед тем как идти к Манати, решаю на всякий случай послать домой телеграмму: ухажу не на один день.

На почте мне встречается некто высокий, представительный, в шляпе и приличном плаще. Как раз «неорганизованный турист», не иначе. Из-за усов не поймешь, сколько ему лет. От тридцати до сорока. Рода занятий тоже неопределенного. Но как будто журналист или даже писатель. Небрежно толкует с почтовыми девушками о том, что у него скоро выйдет книга. Какая? Где? Отвечает невнятно. Вот, в частности, будет опубликован материал в альманахе «На суше и на море». Это о Командорах. Что ж, с удовольствием прочитаем, отвечают девушки.

— Кто это такой?— с подозрением интересуюсь я, когда представительный товарищ уходит.

— Да из «Юного натуралиста»! Журналист, что ли, какой...

Ну, если из «Юного натуралиста»...

Ровно через час встречаюсь с ним в редакции. Нас знакомят. Причем он как будто не узнает меня — на почте не обратил внимания, не тем был занят. Оказывается все же, никакой он не журналист и не писатель. И книжка у него нигде не выходит. Он инженер-экономист из Петропавловска, сейчас у него отпуск, и он приехал сюда подзаработать на промысле котиков, с одной стороны, а с другой — ради экзотики и сувени-

ров. На сувенирах он слегка помешан. Узнав о моих сборах, говорит, сперва не очень убежденно, что, пожалуй, тоже сходил бы к мысу Манати, кабы не то да не это, а потом все более накаляет себя и к вечеру готов на все. Неудобно ему отказать — в то же время страх как смущает его болтливость. Я и сам в подходящей обстановке люблю потолковать, если подвернется благодарный слушатель. Но в этом путешествии мне хотелось бы остаться наедине с самим собой. Для этого есть причина, о которой я скажу в свой час. Однако ходить в одиночку, да еще по неизведанным тропам, пересекая непробуски, в туман и в дождь, довольно неуютно. А вдруг какая-нибудь беда? Словом, я не решаюсь отказать Эдику (будем считать, что так зовут моего нового знакомого). А потом начинаю терзаться сомнениями, ибо действительно к чему мне этот случайный товарищ, возымевший желание пройтись по острову неведомо зачем.

На следующий день Эдик узнает о моем решении уйти без спутника — и переходит в атаку. Он обижен, даже возмущен:

— Нет, я хочу знать причину, почему ты меня не берешь?

Эдик с такой неумолимостью добивается причин, что я — слабохарактерный человек! — наконец не выдерживаю и уступаю:

— Ладно. Замнем. Если найдете рюкзак, бегите покупайте продукты из расчета на две недели — и часа через полтора двинем.

Итак, в дорогу, и будь что будет. А со спутником, что ни говори, и веселее, и надежней. Вот погода по-прежнему скверная. Моросит дождь, туман клубится. Но есть надежда, что наконец-то просветлеет. Дело-то ведь к осени. Четырнадцатое августа! Должно же нако-

нец и здесь воссиять солнце. Уже с полмесяца его никто в глаза не видел.

Рюкзак, основательно набитый, оттягивают плечи. Идти тяжело. Но зато не скучно; свистя крыльями, летают утки, прыгают по песку шустрые кулички... вон прошелестела свист... Подбираю в воде между рифами колючие зеленые тюрбанчики ежей, даю их и вылизываю икру. Вкусно, хотя и непривычно, как бы морской сыростью отдает эта икра. Она сладковато-соленая.

Ежей здесь собирают и днем, и ночью (ради романтики), впрочем, именно ночами, в полнолуние, икры в них особенно много. Едят ее и в свежем и в соленом виде.

Икра эта, как сказано в одной научной статье, содержит жизненно необходимые человеку аминокислоты, до пяти процентов жира, четырнадцать-восемнадцать процентов белка, а сверх того витамины группы В. Морской женьшень!

Вот как важно не пренебречь при случае зеленым тюрбанчиком ежа, заплескиваемым на лайду вместе с желтоватой пеной прилива!

Ночуем в Федоскино: здесь избушка приготовлена к приему косцов — на носу сенокосная пора, — и стены сверкают свежей голубой краской, пол выскоблен, чисто вымыт, печка не дымит. Травы здесь сочные, густые, кое-где в рост человека, и коровы в среднем дают до пяти тысяч литров молока. Летом они почти без присмотра пасутся поблизости от села, зимой переходят на сено, на силос, на комбикорм. Хотя коров на острове и немного, десятка четыре-пять, хлопот они доставляют достаточно, и на доярок всегда спрос. Работа не из легких, особенно зимой. Вставать-то нужно каждый день в четыре утра, еще темно. Дома ничего

не успеешь сделать по хозяйству, скорее на скотный двор. Стужа, пурга, так что дороги не видно, местами грудью пробиваешься в снегу, а на скотном дворе и вовсе снега с головой. Пока еще доберешься до коров и телок, от лопаты спина взмокнет.

Нет, не позавидуешь. Сам свидетель беседы с одной приезжей женщиной в райкоме КПСС.

— Мы бы и рады вам помочь, но там, куда вы проситесь, нет свободных мест,— сказали ей.— Вот если бы вы в доярки согласились пойти—сразу бы вам и квартиру исхлопотали вне очереди, и другую помощь оказали. Доярки нам нужны!

Были, сколько я помню, известные доярки на Командорах — хотя бы удостоенная ордена «Знак Почета» Меланья Тимофеевна Чмиль, Мария Афанасьевна Христиченко, Надежда Афанасьевна Беседина — добивавшиеся высоких наград.

Есть они и сейчас, конечно. Поэтому молочные продукты, кроме масла, в селе Никольском свои. Правда, молоко в магазине обычно не застаивается, быстро раскупают, зато бесперебойна его доставка в детские ясли, детский сад, школу-интернат и больницу.

Есть коровы и в индивидуальном пользовании, но все меньше с каждым годом охотников за ними ухаживать, своевременно заботиться о кормах. Лучше в кино сходить в свободное время или соседей проводить.

Вскоре начинаются по-настоящему интересные места — царство скал и пернатой дичи. Радует глаз бесконечный серпантин поплавков, зелень и синева стеклянных шаров, забранных в сети, разноцветных бутылок... Как тут не вспомнить Паустовского, сказавшего однажды: «Должно быть, все интересно для нас, если

душа открыта для самых простых впечатлений!»! Все, что нужно путнику на первый случай, можно найти в полосе прилива: нейлоновую веревку (которую тщетно искал я в московских магазинах), бамбуковую палку, оклеенную ярким лейкопластырем; крючья и сеть, чтобы поймать рыбу; и даже разномастную обувь, какие-нибудь японские гета...

Вот уже и бухта Полуденная, где стоит старенькая, вросшая в землю, охотничья юрташка. В ней новая железная печка с могучей тягой, есть дрова, ржавый топор — а остальное у нас в рюкзаках.

В речку вошла горбуша, елозит в местах, которые помельче, только торчат наружу горбы. Эдик пошел туда с крючком — попытать счастья. Растопив печку и поставив чай, в неописуемом блаженстве ваюсь на ржавые кровати. На стене выведено крупно карандашом: «2 декабря. Время 3 ч. 15 мин. Валя, не знаю, где встретимся. Я пошел по лайде в сторону Подутесной. Разведу там костер и буду ждать тебя. Если к восьми вечера не придешь, я уеду в поселок звать на помощь».

Дело было зимой, и текст довольно драматичен.

Между тем Эдик (а я еще не хотел его брать с собой) приносит горбушу — подцепил леской с тройничками. Правда, до пояса он мокрый, хоть выжми его.

Ну, с Эдиком я, видно, не пропаду: он и горбушу зажарил так, что пальчики оближешь, и икру не погубил. Ночевка превосходная.

С утра как будто проблески солнца. Проходим мимо валуна, под которым в своеобразном погребке-холодильнике лежит свежая безголовая горбуша. Это песец спрятал про запас, а сам убежал опять куда-то на промысел. Как всегда (а я бывал здесь не раз), привлекают внимание останки исполинского кита, заброшенного

давними штормами под обрыв, к нависающей нечесаным чубом траве. Здесь я находил мелкозубые, раздаривал потом в Москве.

Видимо, самка, у самцов зубы крупнее.

Вот наконец и Перегонная речка, а за ней арка Стеллера (имя выдающегося натуралиста дал ей Леонард Стейнегер)¹. Она красиво отражается в воде. Пользуясь сносной освещенностью, фотографирую, фотографирую...

Невдалеке отсюда я обнаружил когда-то очень редкого кита, так называемого командорского ремнезуба. В «Определителе млекопитающих СССР» о нем сказано мало. Длина тела — около пяти метров. Место обитания — Тихий океан. Всего известно тринадцать находок, из них три — в СССР на острове Беринга. Образ жизни не изучен. Вот и все.

Алеуты называли ремнезуба киган-агалюзох, и совсем уж музыкально звучит его имя в устах индейского племени маках: квов-квов-э-ахт-ле. Кстати сказать, только индейцы и видели ремнезубов в районе скопления лососей, неподалеку от своих лодок. Ученым, к сожалению, достаются лишь выбросы, да и то исключительно редко (в описываемом случае никто этого кита, кроме меня, так и не увидел).

Два его зуба имеют форму пластинок и торчат из

¹ Правда, до революции у алеутов было свое, довольно оригинальное, название этой необычной скалы — «Штаны Тетеринова». Здесь кроется какая-то легенда либо смешная житейская аналогия. Да и впрямь — почему именно штаны? И кто такой Тетеринов? К сожалению, докопаться до первоисточников этого названия мне не удалось. Или вот еще на Медном мыс — Венедикт упал. Тоже сейчас не разузнать, кто такой этот Венедикт и почему он упал. Или почему Бабы плакали (есть и такое местечко).

нижней челюсти, как у кабана. Скорее всего они фиксируют верхнюю, узкую и слабую, челюсть, чтобы не обломалась, когда кит расправляется с добычей.

Зубы, конечно, я выковырял из вонючей туши, хотя это и стоило усилий.

Вот и Гладковская бухта. Дальше сегодня не пойдем. За рекой грузно восходит в туман гора Стеллера — ее почти не видно. Из-под обрыва твякает пре-забавнейший песченок, — мех у него чем-то смочен, скорее всего жиром. Хотя зверек настроен агрессивно, мне удастся потрепать его по холке. После чего он шмыгает в свою нору — отсидеться до появления матери. Ночевать останавливаемся в подзапущенной песцовой кормушке: подкормку зверям давно не оставляют. В ней нет ни окон ни дверей, да и крыша в прорехах. Словом, основательно сквозит. Но не беда. Из травы устраиваем пышное ложе. У меня преимущество — есть спальный мешок. У Эдика нет ничего, и я еще в поселке предложил ему взять мою палатку и заворачиваться в нее ночью.

Пока удастся идти по лайде, не взбираясь на кручи: участки, захлестываемые прибоем, проходим в пору отлива, по скользким от водорослей камням, под оглушительный крик и клекот разной птичьей живности. Труднопроходимые места сменяются заманчиво и ровно простирающейся лайдой, только иди да иди, да поднимай выброшенные морем бутылки, да смотри, нет ли чего в них...

Ко всем бутылкам, которые выбрасывает море, у меня повышенный и давний интерес. Бутылочному ажиотажу на Командорах подвержены многие. Причем, как правило, бутылки привлекают внимание необычной формой — фляг, графинов с витиеватыми узорами и т. д. В Никольском не найдется, пожалуй, дома,

в котором не стояла бы на подоконнике такая бутылка с тысячеzubым драконом, с иероглифами, с фирменной геральдикой.

Что касается содержания, то каждая бутылка, выловленная из моря, в какой-то мере несет в себе предощущение тайны, окутана романтической дымкой. Во все времена, например, существовала так называемая бутылочная почта. Ей посвящены пространные статьи в журналах, толстые главы в исторических исследованиях, наконец отдельные книги. Правда, всю прелесть бутылочной почты омрачает наличие огромной армии любителей повалять дурака, пустить блуждать по морю какую-нибудь неграмотно сочиненную ерунду, а еще того хуже — искусную подделку письма, якобы брошенного во время кораблекрушения в прошлом либо позапрошлом веке. И не так просто докопаться коллекционеру бутылочной почты, где в посланиях подобного рода правда и где вымысел.

Надо ли говорить, что подлинные письма в бутылках и впрямь представляют ценность как для частного коллекционера, члена «клуба собирателей морских бутылок» (такие клубы существуют во многих странах), так и для музея редкостей, а иногда и для науки. Служит бутылочная почта, например, делу изучения морских течений. Когда-то мой проводник Валя Артюхов нашел запечатанную бутылку с желтым листочком внутри. В нем по-русски и по-английски была изложена просьба возвратить листочек Институту океанографии Канады, заполнив графу, где найдена бутылка. Обещалось и вознаграждение: один доллар.

Совсем недавно группа туристов подобрала в бухте Командор бутылку, в которой лежала записка, опять-таки на русском и английском языках. Чернила выцвели, но русский текст все же был прочитан: «Записка эта

брошена съ целью изучения течения съ Канонерской лодки «Манджуръ» 29 июля 1909 года» и т. д. Впрочем, похоже, что и это подделка.

В бухте Диковской навал огромных глыб, некогда сорвавшихся сверху, к ним примыкают надолбы рифов. Ввысь уходит изошренная кладка слоеных пород, нависающая над нами пилообразными уступами, ее косо штрихуют снующие туда-сюда кайры. Я впервые вижу такое множество кайр — здесь птичьи базары. И вдруг — о неудача! — упираемся в отвесную скалу, вершина которой скрыта облачностью, а подножье уходит в воду. Надо выбираться из бухты и обходить ее по сопкам. А у них высота за пятьсот, да и расчлняются они довольно круто. Знать бы точно, где удобней пройти. А что, если падет туман, вон как облачность над сопками клубится! Так ли, нет ли, выбираю подъем поположе и начинаю восхождение, утопая в зарослях зонтичных, с хрустом ломающихся подо мной растений. Сзади сопит Эдик. Вскоре он отстает. Поджидаю его, немного злясь.

И тут Эдик враз и окончательно сдает. Подъем ему не по силам, к тому же он натер ногу.

— Нет, нет, дальше я не хожу, — качает головой Эдик, и чувствуется, что он клянет себя за прежнее свое бахвальство. — И тебе не советую идти. — Воодушевленный этой мыслью, он начинает длинно толковать об опасностях, которые наверняка подстерегают меня впереди. — Давай вернемся. Лучше побродим в окрестностях Гладковской — сейчас начинаются самые грибы. Опять же горбуша...

Мне смешон весь этот разговор. Мне нужно идти. Начинаются солнечные дни, при солнце я уж как-ни-

будь всегда сориентируюсь на местности. А от нелепых случайностей никто не гарантирован даже дома.

— Помни,— смирившись, напутствует меня Эдик,— помни, что я буду ждать тебя в Гладковской. Сегодня семнадцатое августа. Я жду тебя до двадцать третьего, даже до обеда двадцать четвертого. Если не придешь, уйду в село, буду поднимать тревогу.— Он расшнуровывает свой рюкзак.— Бери, что тебе надо из продуктов.

Иду трудно. Настроение скверное. Однако мало-помалу переваливаю одну вершину, переваливаю другую, третью... через каждые сто шагов отдыхаю... Внезапно сквозь лоскуты верхового тумана опять открывается бухта Дикая, или Диковская,— я зашел к ней с тыла. Но она еще далеко внизу. Значит, вниз и вниз, но спуск не лучше подъема, крутизна такая, что склон иногда уходит из-под ног, каблуки скользят по шуршащей щебенке, я падаю, кувыркаюсь, наконец за что-то удается схватиться, за какой-то ненадежный корешок. И опять спуск, ноги не выдерживают тяжести рюкзака, подгибаются. Наконец сваливаюсь в кустарник, в какие-то сплошь заросшие овраги, ямы, колдобины,— но это уже спасение. Как бы ни было трудно, до берега уже недалеко и, пожалуй, ничто не сможет преградить мне дорогу.

Одно плохо: берег пустынен, ночевать негде. Палатки у меня нет. Устраиваю в траве на береговом карнизе постель: стелю лист полиэтилена, на него — спальник мешок, в изголовье кладу рюкзак. А сверху укроюсь еще одним листом — на случай дождя. Заодно готовлю все к ужину.

Вдруг грохот, летят камни — там, где я только что разведывал проход на утро, обвал! В стиснутой скалами бухте жуткое эхо...

До чего унылая бухта, даже песцов не видно.

Всласть попив жидкого кофе, залезаю в спальный мешок, лист полиэтилена прижимаю по бокам заранее припасенными камнями: чтобы ночью не сорвало ветром. Момент торжественный: это первая в жизни ночь, которую я провожу в полном одиночестве, в совершенно пустынной бухте, под совершенно открытым небом. Испытываю ли я особое удовлетворение от этого? Глядя на ночь — нет. Все так угрюмо вокруг, так молчально.

Встаю чуть свет. Быстренько собираю постель. Кипячу кофе. Тороплюсь изо всех сил, чтобы как можно больше пройти непропусков, пока не настигнет прилив. Там, где вчера гроыхал обвал, прохожу без помех, но с опаской; от влажных камней со свежеизломанными гранями несет знобящим холодком. И вдруг оказываюсь в ловушке, которой не ожидал: передо мной широкая и глубокая щель между рифами, этакое цельнотесаное ложе в их монолите, заполненное вздымающейся подобно живому существу, плавно прогибающейся водой океана. Как ни полон отлив, вода отсюда все же не отсосалась и, видно, теперь не отсосется. Не хочется думать, что мне придется перебираться через эту промоину вплавь. Добро бы налегке. Но с рюкзаком? Так неужели же опять карабкаться на следующий хребет — и все ради одного-единственного непропуска? В смятении отступаю, скольжу взглядом по гладким, будто стесанным камням, по этим высоченным кручам — в них никакого проблеска.

Но что это? Неужели почудилось? Подаюсь влево, плотнее к скале — и в безотрадной черноте непропуска, сочащейся соленой влагой, подобно прянувшему снизу вверх лучу, виден свет. Будто включили вдруг вертикальную люминесцентную лампу. Пещера? Неужели

сквозная? А что, если и в ней не даст пройти глубокая вода? О, такие случаи в моей практике бывали. Попадался я в похожие ловушки на Курилах. Хотя бы на острове Кетой.

Робко приближаюсь к источнику света — передо мною будто кулиса отодвигается: свет все сильнее, и наконец уже явственно видна узкая пещера. Протискиваюсь в нее с трудом, но дальше, слава богу, она расширяется. Внизу клокочет вода — я с дрожью ощущаю ее злобный плеск. Но, раздвинув ноги циркулем, незстетично раскорячась (зрителей, впрочем, нет, стесняться некого), здесь можно проскользнуть. А куда? Там будет видно. Пока вперед. Теперь я уже боюсь, как бы пещера не расширилась — ноги не резиновые, их длины едва хватает, чтобы не сорваться с узких приступок в воду. Прохожу через непропуск насквозь и воспринимаю это не только как редкую удачу, но как подлинное чудо. Ведь пещеру я заметил случайно. Мог бы и возвратиться. Сажу на сухом гладком рифе, отдыхаю душой. Нюхаю ромашки, пробрызнувшие из расщелины. Кидаю на непропуск косой подозрительный взгляд: неужели он уже позади? А сколько было волнений...

Все шибче начинает припекать солнце, но с моря доносит приятный ветерок. Идти легко, тем более, что все непропуски уже не пугают — вода по отливу далеко отпрянула от них. Одна за другой остаются позади бухты и бухточки: Диковская, Перешеек, Голодная, вот уже и Лисенкова. Говорят, здесь зимовал Шелихов. Возможно. А почему бухта носит имя Лисенкова? Кто такой этот Лисенков? Очевидно, это тот самый «знающий малороссийский мещанин», который участвовал в экспедиции мореплавателя Креницына к берегам Аляски. По пути туда корабли Креницына и Левашева пристава-

ли к острову Беринга. Лисенков и раньше хаживал в плавания вдоль Алеутских островов, участвовал в составлении их карт, потому Креницын и взял его в экспедицию. Впрочем, бухту называют еще и Лисинепой...

Лайда желтеет однообразно, разве что выброшенные прибоем медузы лежат на ней словно куски мутного литого стекла да блеснет заманчиво бутылка. А что там чернеет на той перевальной горе? Неужели олени? Да, пожалуй. В мощный телевик видно, что стоят они, скучно понутив головы. Мне как раз подниматься на тот лысый щебнистый перевал. Правда, я не надеюсь, что сумею подкрасться к животным незаметно. Выбираю склон, на котором долгое время они не смогут меня увидеть. На желтом суглинке ярко алеют тугие шляпки грибов. Парочку срываю, чтобы вечером зажарить. Нарвал бы больше, но не хочу отвлекаться. Скрываясь за каменным останцем, подхожу к оленям довольно близко, фотографирую их так и этак.

Олени замечают меня лишь когда я, уже не таясь, встаю в рост. Они срываются с места в карьер и скачут по гребню перевала. Почти в прямую линию выбрасывают ноги — словно летят. Вскоре они уже на гребне другой, более высокой сопки.

Откуда они здесь, на острове Беринга?

Пятнадцать северных оленей были завезены сюда в 1882 году по инициативе доктора Дыбовского. Теперь уместно будет вспомнить добрым словом этого человека, так много сделавшего для Командор и командорского населения. В научном мире он, впрочем, более известен, как исследователь фауны и природных особенностей Байкала. Бенедикт Иванович Дыбовский, молодой

адъюнкт-профессор Высшего училища в Варшаве, биолог и врач, был одним из участников национально-освободительного восстания 1863 года. Он входил в комитет польских офицеров-революционеров, возглавлявшийся такими яркими личностями, как Сераковский и Домбровский. Комитет планировал свою деятельность в контакте с революционными демократами России. За его работой внимательно следил Н. Г. Чернышевский. Вот тогда-то и познакомился Бенедикт Иванович с выдающимся русским демократом. Спустя годы это знакомство переросло в дружбу. Дыбовский впоследствии писал: «Вспоминаю время моего пребывания в Петербурге, где я увидел настоящую Россию, которая не спала, а по-настоящему боролась с царем...»

В феврале 1864 года, когда восстание было подавлено, Дыбовского заключили в варшавскую цитадель. Он был приговорен к смертной казни, но, благодаря энергичному заступничеству ученых России и Германии, в конце концов получил двенадцать лет каторги. Так он попал в Сибирь, где какое-то время работал в семистах километрах от Иркутска на ремонте дорог, рубке леса, мелком строительстве.

Уже в ту пору Дыбовского заинтересовали проблемы Байкала. В частности, его насторожило, что известный в то время русский зоолог Густав Радде, «знаток» озера, отмечал удручающую бедность Байкала растительностью и беспозвоночными животными. Дыбовский не мог с этим согласиться.

Байкал не дает ему покоя, и неутомимый исследователь, рассылая в разные инстанции прошения, наконец добивается того, что ему разрешают поселиться близ этого озера. Но даже в самом небольшом денежном пособии для научной работы ему отказывают (о денежной помощи он хлопотал перед Сибирским отделом

Географического общества). Сослались при этом на Радде — он-де установил, что, кроме рыб и тюленей, в Байкале ничего больше нет, так что незачем и деньги тратить на исследование того, чего в озере не существует. Дыбовский со своим товарищем, тоже ссыльным поляком, исследует громадное озеро на свой страх и риск, без всякой помощи со стороны. Самим пришлось изготавливать приборы для измерения глубин, взятия проб донных отложений, сконструировать драгу, сплести планктонную сеть и свыше ста тысяч метров веревки. Не говоря уже о строительстве обсерватории для наблюдения колебаний уровня озера, оборудования метеостанции и так далее. Всего не перечислить. Ведь начал он буквально с нуля, «при наличии собственных сил и средств, а вернее, без всяких средств». И позже он пишет: «По несколько недель подряд пребывали мы на байкальском льду без палаток, ночевали обыкновенно на поверхности льда или снега... Возвращались в Култук с обмороженными лицами и красными глазами, но задание, которое себе ставили, всегда выполняли».

Без преувеличения, это научное подвижничество.

В течение одиннадцати лет двое ученых изучают животный и растительный мир Сибири, плавают по Японскому морю, поднимаются на вершины Хамар-Дабана и Сихотэ-Алиня, блуждают по тайге.

Тягот кочевой жизни Дыбовский как бы не замечал. Любая обстановка была ему привычна. В этом смысле интересен отрывок из частного письма одной интеллигентной сибирячки, приведенный в воспоминаниях о Дыбовском: «1874 год внес в нашу жизнь разнообразие,— писала она.— К нам в гости приезжал известный ученый-орнитолог Дыбовский, который поселился в сорока верстах от Хабаровска со своими двумя

товарищами. Он был одним из самых интересных когда-либо виденных мною людей. Всегда скромно и чисто одетый, довольно высокий, здоровый, шатен, красавец в полном смысле слова, он производил такое впечатление, точно никогда не видел себя в зеркале и потому не знал своей красоты. Спокойный уравновешенный философ, высокообразованный, Дыбовский как бы не чувствовал своего превосходства над теми, кого встречал, и охотно принимал участие во всяком пустом разговоре. А когда рассказывал о своих изысканиях, то, казалось, будто читает самую интересную книгу... Жизнь в тайге без всяких удобств не тяготила его ни сколько.

В случае необходимости Дыбовский мог курить маньчжурский табак и есть пельмени из енота с кунжутным маслом, не находя в этом ничего особенного... Наука и помощь больным инородцам и окрестным казакам заменяли ему все в жизни. Я ни разу не видела его грустным, не слышала, чтобы он пожаловался на судьбу.

После беседы с ним становилось легче на душе и казалось, что все в жизни пустяки и тлен, кроме идеи, руководящей человеком».

Прекрасная характеристика человеческих качеств Дыбовского!

Между тем основная и постоянная его привязанность все та же — священное море Байкал. Здесь нет необходимости вести подробный разговор о его байкальских работах. Достаточно отметить, что именно за них Географическое общество наградило его золотой медалью и ходатайствовало перед царем о присвоении ему приставки к фамилии — Байкальский. В России того времени приставки подобного рода свидетельствовали о высоких научных заслугах людей, которым они

присваивались. Но ученый не захотел принимать от царя никаких знаков поощрений и отличий.

Когда истек срок ссылки, Дыбовский, окончательно покоренный раздольно-могучими просторами Сибири и Дальнего Востока, их неисхоженностью и малоисследованностью, решил пока не возвращаться на родину. Он задумал осуществить поездку на Камчатку и подыскал себе единомышленников. Среди них был знаменитый путешественник и исследователь Сибири, в то время тоже ссыльный, Ян Черский.

Ради этой поездки Дыбовский отказался от должности профессора зоологии в Томском университете.

Семенов-Тянь-Шанский отнесся к его желанию поехать на Камчатку для научных исследований сочувственно и выхлопотал ему место окружного врача в Петропавловске. Правда, Дыбовский поехал туда один — его друзья отбывали еще ссылку.

Дыбовский сразу же попадает на Командоры. Здесь, так же как и на Камчатке в эти годы, он развивает кипучую деятельность. Острова пришлись ему по душе, он отмечает здесь мягкую (мягче, нежели на Камчатке) зиму. Он много думает о том, как облегчить жизнь и быт местного населения. Именно его идее, как мы уже знаем, островитяне обязаны тем, что на Командоры были завезены олени. Впрочем, Дыбовский завез сюда и первых лошадей. Разумеется, эти фразы беглой биографической справки не передают всей сложности, а подчас и драматизма обстоятельств, при которых Дыбовскому удалось осуществить свою великолепную затею. Ибо была борьба мнений, была и прямая схватка с невежеством. Тогдашний управляющий островами Гребницкий ополчился против замысла доктора, мотивируя свое несогласие тем, во-первых, что олени на

Командорах распугают морских котиков, во-вторых, будут нападать (?!) на людей, собирающих ягоды, в-третьих, котики могут заразиться подкожными паразитами оленей, и обесценится качество меха и вообще паразиты будут их беспокоить (именно потому и не живут котики, например, на Камчатке). Дыбовский разбил эти несерьезные утверждения без особого труда, но Гребницкий остался при своем мнении.

Дыбовский вынужден был обратиться за помощью к агенту «Гутчинсон Кооль и К°». Агент тоже было засомневался, не влетит ли завоз оленей компании в копеечку, однако все подсчеты и расчеты, выполненные Дыбовским, в конце концов его убедили. Дыбовский сам поехал на Камчатку, сам тщательно отобрал здесь пятнадцать животных, сам уплатил за них. Разумеется, и все заботы по перевозке оленей легли целиком на него.

В Никольском и Преображенском он организует аптеки, обучает жителей первичным навыкам фельдшерского дела (на Камчатке в эти же годы учреждает больницу для прокаженных). Ему претят всяческая несправедливость в отношении коренного населения, произвол местных властей. Он подсчитал, например, что население округа, принося промыслом пушнины, ловлей рыбы, забоем морского зверя немалый доход казне, получает за свой труд в среднем по шесть рублей с копейками на человека в год! На этот «заработок» нужно было покупать продукты, одежду и платить за лекарства!

Дыбовского ужасают санитарные условия, в которых живут эти люди; их косят эпидемии, преследует голод. Он делает все возможное, чтобы как-то облегчить их участь — прежде всего как врач. Но не забывает за всеми этими повседневными обязанностями

и научной работы. На острове Беринга ему посчастливилось встречать Адольфа Эрика Норденшельда. С участником его экспедиции зоологом и этнографом Нордквистом доктор Дыбовский проводит на Командорах антропологические исследования. С Леонардом Стейнегером он путешествует здесь в поисках островных редкостей, исследует птичьи базары. Вместе они обораудуют первую на острове Беринга метеорологическую станцию.

В Польшу Дыбовский возвратился в 1883 году, привезя с собой почти сто ящиков с различными экспонатами. Он организует их выставку в Варшаве. Впоследствии они занимают надлежащее место в музеях Варшавы, Львова, Берлина, Москвы, Петербурга.

Дыбовскому предложили заведование кафедрой зоологии при философском факультете Львовского университета. Почти двадцать три года он бессменно провел в стенах этого учебного заведения. Министерство просвещения Польши обратило наконец внимание на то, «что господин профессор проповедует революционные идеи, несоответствующие идеям, принятым в науке, что он является сторонником теории Дарвина, что проповедует эволюционизм». И Дыбовский с гордостью ответил: «Да, я стою на эволюционных позициях и проповедую эволюционизм в своих лекциях. Это является моей обязанностью. Как профессор университета, должен я читать лекции на высоком теоретическом уровне, указывать в них на все то, что приобретено наукой. А теория эволюции является величайшим приобретением науки в XIX веке, является теорией, которая дает возможность объяснить многие нелепые вопросы в области естествознания».

И от своих взглядов Дыбовский на отступился.

В сентябре 1906 года ректор Львовского университета освободил его от занимаемой должности. Ученый на старости лет был предоставлен самому себе и вел порой нищенское существование.

Не удивительно, что на Командорах благодарная память о нем еще долго сохранялась. Спустя двадцать лет после его отъезда во Львов пришла уникальная посылка. В ней был скелет морской коровы. Сам Дыбовский тщетно искал более-менее сохранившиеся останки этого редкостного морского зверя в бытность свою на островах. Я не знаю, где находится подаренный Дыбовскому скелет сейчас, но таким экспонатом могут похвастать всего лишь два-три музея во всем мире.

Бенедикт Иванович прожил долгую и весьма плодотворную жизнь: он родился в 1833 и умер в 1930 году. Он стал современником еще невиданного социального переворота и социального обновления, к которому привела в царской России победа Октябрьской революции. Царизм обрек молодого ученого на каторжные работы, и только беззаветная преданность науке помогла ему даже ссылку превратить в поле деятельности на благо человеку.

Советская страна по достоинству оценила заслуги польского ученого в деле изучения Сибири: она присвоила ему в 1928 году звание члена-корреспондента Академии наук СССР.

В 1877 году Дыбовский писал, возвращаясь в Сибирь из Петербурга, где он встречался с Семеновым-Тянь-Шанским: «В день Нового года по старому стилю мы остановились на рубеже нашего путешествия по железной дороге — дальше надо было ехать на перекладных. К тому времени, когда через всю Сибирь будет проложена железная дорога, наверно, исчезнет

календарь старого стиля, не станет перекладных, не станет и старых предрассудков.

Прогресс заразителен, и если он произойдет на одном участке, то должен перейти и на другие. Однако мы до этого, пожалуй, не доживем».

Он дожил, славный доктор Бенедикт Иванович Дыбовский. Он не дожил только до того часа, когда и его родина тоже стала социалистическим государством. Но он провидел этот час, он его торопил и ждал.

Надо сказать, что к 20-м годам нашего столетия от того поголовья оленей, на которое указывал в своей книге Суворов (500—1000 голов), не осталось ни одного животного. Частично это объясняют несчастными случаями, особенно зимой, когда олени погибают под снежными обвалами на юге острова, причем иногда стадами в сотню-другую голов сразу; здесь встречали по ущельям такие массовые кладбища животных. Оленей били в те годы тайком высаживающиеся на юге острова японцы-зверобой. Неумеренно отстреливало их и местное население.

Вторично они были завезены в 1927 году. Быстрому росту стада способствовал хороший корм — не привычный, правда, ягель, которого здесь мало, а растущая в изобилии шикша, грибы... Комары — бич оленьих стад — в иное лето не появлялись вовсе. Словом, раздолье...

Признаться, я не очень поверил, когда мне говорили, что недавно стадо оленей насчитывало на Беринге тысяч пять голов. Не поверил потому, что куда же они в таком случае пропали, если сейчас осталось, как считают, сто-двести голов, не больше.

Однажды я поинтересовался судьбой командорских оленей у старожилы острова, заместителя директора зверокомбината Ивана Федоровича Скрипникова.

— Да, были, были олешки. Паслись вот здесь по северным увалам, по тундре. Когда надо, пригоняли их к селу, забивали положенное число на мясо,— вспоминал он, разглаживая заскорузлой рукой отнюдь не конторского работника красное от ветра лицо; полистал какой-то свой карманный фолиант.— Они и сейчас еще на балансе зверокомбината числятся. Вот, пожалуйста: семьсот двадцать два оленя. Невеликая им цена, по три с чем-то целковых за голову, однако не списывают. С пастухами что-то не ладили, сэкономить на их зарботке решили, что ли, уже не помню,— словом, уехали они к себе на Камчатку. Коряки пастухи были, опытные... Оставшееся без присмотра стадо откочевало на юг, в гористую часть острова, ну а там кручи, гололед... Гибли олени, словом. Да и браконьеры их не щадили, беззащитных-то... Ружья здесь почти у всех.

А для заезжих, особо дотошных корреспондентов, существует расхожая версия: стадо истребили... две собаки. Да, две собаки, кобель и сука, сорвались с привязи и дали на свободе потомство. И вот, мол, хитрые, одичавшие псы умело гонят оленей к обрывам или сворой валят на ровном месте. Никто никого не валит. Тем более сворой. Я не раз обошел весь остров Беринга, неоднократно пересекал его в самых разных направлениях, но не видел ни единой собаки. Зато следы браконьеров и даже заваленные камнями убитые олени мне попадались. Кое-кого из этих браконьеров я даже знаю, но, как говорится, не пойман — не вор!

И еще относительно собак. Сейчас на острове Беринга всего две или три упряжки, то есть самое боль-

шее собак тридцать. В конце XIX века на этом же острове было семьсот собак, и не исключено, что многие из них действительно убегали в тундру. И все же поголовье оленейросло, а не сокращалось.

Я наконец впрямую атаковал Ивана Федоровича:

— Почему же вы сейчас пытаетесь избавиться от них, какая в этом логика, если мясо так или иначе всем здесь нужно? А с доставкой, сами знаете, случаются и перебои. Ну, не было бы здесь оленей, так ведь они есть, пусть даже немного. Прибрали бы вы их к рукам, для этого и нужно всего несколько пастухов да хозяйский глаз. Да, может, еще производителей с Камчатки завезти, обновить стадо, а?.. Выгода-то должна быть какая-нибудь? Даже так, прикидывая отвлеченно, без цифр и арифмометра?

Иван Федорович посмотрел на меня, вздохнул, покачал головой.

— Легко сказать. Когда на нашем комбинате столько всякого висит. Э, многоотраслевое хозяйство — разве только цветов в оранжереях не выращиваем.

Похоже, что следить за стадом и производить плановый отстрел, прекращать его тогда, когда это отражается на росте поголовья, наконец перегонять стадо в зимнее время поближе к селу, в равнинные места, чтобы предохранить животных от случайной гибели, никому не хочется. Вот пасутся они сами по себе — и слава богу.

Зверокомбинат не хочет брать на себя лишнюю обузу и, вероятно, имеет для этого свои резоны. Считается, что основное дело на островах, которым стоит заниматься планомерно и за которое, наконец, приходится так или иначе отвечать, — это промысел котика да еще вот перспективно в будущем разведение норки.

Между тем нелишне подчеркнуть: в Директивах XXIV съезда партии особо сказано о повышении продуктивности оленеводства в районах Севера и Дальнего Востока, что, вероятно, предполагает и расширение его границ. И как бы не пришлось завозить оленей на Командоры в третий раз!

Вторая ночевка под открытым небом. Довольно бесприютно и неприкаянно чувствуешь себя, не имея крыши над головой.

Устраиваю постель, как и вчера, в высокой траве. И пока совсем не стемнело, спешу развести костер. Жарю парочку найденных на сопке грибов. Поужинав, немного оставляю на утро, полагая, что песцов здесь нет.

Напяливаю на себя полиэтилен. Засыпаю. А песцы в бухте все-таки есть. Ночью вдруг слышу звяканье крышки на котелке, в которой осталось мое грибное блюдо.

Вскакиваю, ошалело кричу. Песец убегает. Едва успеваю задремать, опять звякает крышка. Приподнимаюсь, кричу. Песец немного отбегает и останавливается на гребне дюны, среди примятой травы. Под боком у меня лежит бамбуковая палка. Осторожно беру ее, размахиваюсь и — р-раз! Попал! Кажется, подействовало: песец кубарем летит на лайду. Засыпаю. Вскоре слышу, как этот нахал (а может, другой) бежит по мне, будто уж и вовсе я не подаю признаков жизни. А, черт с тобой, думаю, — все равно не встану. Грибы я надежно упрятал, голову сунул в полиэтилен, так что за нос он меня не укусит.

Утром песец шмыгает около костра, принюхивается. Подогрев грибы я демонстративно улетаю их

у него на виду. Ему это не нравится. Отворачивается с кислой миной и куда-то убегает. Скатертью дорожка!

Известно, что оленей сюда завезли. Завезли неумышленно и мышей — вместе с зерном либо мукой. А вот откуда появились песцы — загадка. Можно предположить, что они занесены сюда на плавающих льдинах, хотя льды бывают у островов, и то не так уж вблизи, очень редко, если дуют продолжительные и весьма сильные северные ветры. Появившись так или иначе, голубой песец размножился здесь необычайно.

Когда потерпевшие крушение беринговцы уходили с острова, доля каждого составляла по несколько сот шкурок песца.

Три года спустя Емельян Басов упромыслил две тысячи шкурок. Еще год спустя Андриан Толстых добыл здесь полторы тысячи. Уж не говоря о последующих промышленниках... Поразительно, какая здесь кормилась орава песцов, если иметь в виду, что современные хозяйственники и биологи постоянно озабочены тем, как и чем их подкармливать. Никто их тогда не подкармливал, и, как видно, на состоянии поголовья и качестве меха это губительно не отражалось.

На островах Прибылова песцов сейчас не промышляют в связи с тем, что их мех упал в цене; их развелись там неисчислимые количества; до зимы они кормятся тушками погибших котиков, — вероятно, и на зиму запасаются этим мясом. Недалеко то время, утверждает Свен Йильсетер, когда они станут там подлинным бедствием. По крайней мере, для людей. Потому

что одно дело необитаемый остров, где зверек предоставлен самому себе, и другое дело остров заселенный. Тут невыгодность такого соседства обоюдная (если зверя не промышлять): песцы мешают людям, а люди (иногда с их собаками) мешают песцу. (Почти каждая русская семья на острове Беринга держит сейчас домашнюю птицу — чаще всего кур. Раньше это было невозможно — в лучшем случае энтузиасты домашнего птицеводства держали кур на чердаках.)

В летнее время песец, конечно, чувствует себя привольно и вряд ли нуждается в подкормке. Витаминами он обеспечен в избытке — на лайде есть все, что требуется в ту или иную пору его организму. По отливу берег пестрит разноцветными звездами, там и сям виднеются раковины мидий, голотурии, под водорослями таятся иногда осьминоги, много везде криптохитонов, голожаберных. Камни обильно «облицованы» морскими желудями (белянусами), пателлами, шевелятся на них красивые розетки актиний. Не перечислить многощетинковых червей, мелких ракообразных...

Любит песец, подобно человеку, морских ежей и мамаев. В мае — июне, когда бычки у самых берегов откладывают между камнями икру, песцы по отливу собирают ее; иногда здесь можно полакомиться и самим бычком, не успевшим улизнуть вовремя.

С началом же птичьих базаров жизнь и вовсе становится сытной. Песец в поисках яиц забирается на головокружительные кручи (нередко, сорвавшись, разбивается насмерть). Он вступает в единоборство с птицами, чаще с подранками, но иногда в состоянии справиться и со здоровой; почему-то не ест он чаек-говорушек; у топорков отгрызает украшенные тяжелым клювом головы, видимо, особо для него лакомые, но на худой конец захватывает и тушки. Нора его иногда бит-

ком набита продовольствием — песец не привык рассчитывать на безоблачное будущее (однажды я насчитал возле дыры до полусотни изгрызенных и целых тушек). Запасы яиц, похищенных из гнезд, подчас достигают десяти-пятнадцати штук. Не брезгует песец и мясом собратьев, попавших в капкан!

Кит, выброшенный морем, в своем роде настоящий склад мяса, которого хватает всем песцам в округе.

Песец на островах почти лишен врагов. Впрочем, в поселке ему может повстречаться собака или кошка, от которых он держится подальше. А на лайде может подстеречь ворон, любитель именно тех кормов, которыми песец обычно запасается; бывает, что слабого песца ворон может и заклевать, пробив ему череп.

Когда здесь не было клеточного песцового хозяйства вообще, песец отстреливался охотниками на свободе. На него расставлялись ловушки. Зимой песец тем легче шел в ловушки, что, бегая по лайде, не всегда мог утолить голод; да и бухты с удобными песчаными лайдами часто бывали забиты шугой; над берегом по обрывам нависали снежные карнизы и козырьки.

Волей-неволей песцов приходилось подкармливать. Причем получалась довольно неутешительная картина: если в 1928 году на песцов расходовалось семь тонн подкормки, в пятидесятых годах эта цифра возросла во много раз! Как ни странно, в эти последние годы было отмечено даже снижение прироста поголовья. А себестоимость шкурки резко повысилась.

Надо отметить с сожалением, что, сколько существовало на острове Беринга клеточное звероводство, не было здесь рекордных показателей. Условия суровые, песец в неволе не очень-то процветал, как за ним ни ухаживали. Были, конечно, достижения, опытные звероводы всячески оберегали помет от болезней, самоот-

верженно лелеяли — труда много, а результаты не радовали.

К тому же хороших, опытных звероводов всегда не хватало. Таких, как Зинаида Ивановна Копейкина, ныне уже вышедшая на пенсию. Рассказывают, что она носила слепых еще, квелых щенков за пазухой, высиживала с ними по два сеанса в кино, укладывала спать дома на подушках, отпаивала из пипетки либо прямо изо рта глюкозой, откармливала куриными желтками... Стало привычным, что она забирала щенков, от которых отказывались другие звероводы: авитаминозных, цинготных, хроменьких, увечных. И мало-помалу возвращала их к жизни. Песцы — зверюшки неблагодарные, оттого-то и лицо у Зинаиды Ивановны бывало в свежих шрамах, а руки в бинтах.

Я неспроста говорю о клеточном песцовом хозяйстве на островах в прошедшем времени, ибо ныне оно упразднено.

В чем же причина? Оказывается, не та несколько лет назад установилась мода. Мода пошла на так называемого норвежского вуального песца — более гладкий, с шелковистым отливом мех. Попробовали на скорую руку завести норвежского — тоже не получилось: малый выход щенков на самку, явно убыточно. Сейчас ни командорского, ни норвежского...

Иван Федорович Скрипников, когда я его порядком допек своими расспросами, признался откровенно:

— Да, может, и поспешили мы с песцом. Мода — она, понятно, с причудами. Был голубой песец не модный, а теперь вот, поговаривают, снова появился спрос на лохматый мех. Только теперь уж вся надежда на охотников...

Вся надежда... Между тем дело охотников только стрелять да еще разве выделывать шкурку. Об улучшении

качества меха голова у них обычно не болит. Как регулировать отбор производителей, разумно направлять рост стада — тоже не их забота. Да и сами госпромхозовские охотники пришли к выводу, что необходимо вернуться если уж не к клеточному, то к островному звероводству: к строительству стационарных ловушек-кормушек, к постоянной подкормке зверя. Иначе о рентабельности промысла голубого песка нечего и помышлять.

Сейчас на комбинате увлеклись норкой. Ну, а как обстоят дела с норкой, я узнал из выступления директора комбината Михаила Андреевича Рыжова на партийном собрании. Действительно, выгодно разводить этого шустрого мелкого зверька. И весьма наглядному росту поголовья можно только радоваться. Помню, в 1966 году я впервые увидел здесь норку, на ферме едва ли было сотни три зверьков, сейчас же три с лишним тысячи, норководство — ведущая и самая перспективная отрасль, в командорском хозяйстве. Комбинат пока еще несет на каждой шкурке четыре рубля убытка, но уже при семи тысячах маточного поголовья (а здесь мечтают о десяти) пойдет чистая прибыль. Правда, уточнил директор, при условии твердых цен на корма. А условия эти будут лучше, нежели до сих пор, потому что вот-вот строители сдадут холодильник. Раньше пойманную летом своими силами рыбу негде было хранить, так что волей-неволей приходилось покупать треску со стороны, иногда втридорога.

Впрочем, минуточку: а вдруг и на норку спрос упадет? Либо что-то не заладится в хозяйстве, как это было с песцом? Ведь, откровенно говоря, все же досадно, что песцовое звероводство, поглотившее столько сил, средств и надежд, здесь себя не оправдало. Кто прав, кто виноват — не мне судить. Зоотехния — сложная

вещь. Но, возможно, конъюнктура международного рынка еще заставит командорцев возвратиться к разведению клеточного песка. Пути моды неисповедимы.

Скоро пойдут, пойдут грибы. Вот уже появились кое-где подберезовики, а чуть позже запестрят повсюду подосиновики. Тундра станет от их обилия конопатой. Свен Ваксель жаловался в своей книге, что они ели здесь «непотребную и натуре человеческой противную пищу». Это он напраслину возвел на Командоры. Куропаток они здесь ели да нежное мясо морской коровы. Великое спасибо надо сказать природе за такую пищу — если к ней есть соль да сахар. По крайности хотя бы соль. Рыба, которую в то время хоть руками гребли, обилие птицы, первоклассные грибы, морошка, рябина — нет, Ваксель просто решил разжалобить лишний раз читателя. Между тем автор двухтомного «Исторического обозрения образования Российско-Американской компании» Тихменев особо подчеркнул, что «по изобилию местного продовольствия о. Беринг может считаться лучшим из всех островов северной части Восточного океана».

Чем дальше к югу, тем хаотичнее скалы. Но непроходимых мест почти нет. Шумней становятся птичьи базары. Бакланы подчас гнездятся совсем низко — правда, не настолько, чтобы могли достать песцы. Но я иногда достаю до гнезда палкой, а если положу камень на камень, то могу взять птенцов руками. Матери самоотверженно пытаются прикрыть их крыльями. До мельчайших подробностей виден в такие мгновенья зеленовато-сизый с черным зрачком глаз птицы, и темносерый мешочек под клювом — видимо, хранилище для рыбы — напряженно дрожит. Папаши тем време-

нем добывают пищу. Бакланы принадлежат к так называемым веслоногим (то есть пеликанам, олушам, фрегатам и фазтонам). Они хорошие ныряльщики, и способны даже под водой гоняться за рыбой, гребя не только лапками, но и крыльями. Однако перья у них быстро намокают, поэтому далеко от берега бакланы не летят, чтобы, если не удастся подняться в воздух, суметь кое-как приплыть к земле.

Вот еще одна бухта. Впереди вроде виднеется уже мыс Манати, дальше которого идти некуда. Мыс Манати назван так в знак того, что именно здесь когда-то водилось много коров — дюгоней, манати (как ошибочно считали по общему родству морских коров с дюгонями в отряде сирен).

Но, достигнув крайних скал, я убеждаюсь, что это не Манати (на котором должно находиться большое лежбище сивучей). Решаю дальше не идти: у ног глубокие вымоины, примыкающие к непропускам. Здесь вброд не пройти. Да и зачем идти куда-то еще, когда я нахожусь в самом что ни на есть полном и безраздельном царстве птиц, преимущественно кайр; известно, что на Командорах их почти вдвое больше, чем, скажем, на Баренцевом море. Они кучно гнездятся на крутых скальных срывах — издали такая скала кажется испещренной нотными знаками. То одна, то другая кайра вдруг начинает поспешно махать крыльями. Просто непонятно, на чем они там держатся. Естественно, что время от времени у птиц нарушается равновесие. А ведь где-то там, на этих маленьких скальных зазубринах, за которые едва можно лапками зацепиться, есть еще и птенцы. Должны быть, во всяком случае. И мне хотелось бы хоть одного сфотографировать, но никак не удастся: я их нигде не вижу, куда-то они упрятаны в укромные места.

Придерживаясь за борщевики и колосняк, восхожу по рыхлому отвесному склону на макушку непропуска. По загравку, обильно утыканному затравеневшими кочками, словно бородавками, можно добраться до самых карнизов, вплотную к гнездам. А тут уже раздолье: как на ладони базары, расположенные напротив: вон на отдельном кекуре желтеет среди травы песчаная залысина — и сколько же там топорков! Издали кажется, словно жучки с красными головками повылезали из норок на солнце. Это так называемый «клуб». Среди топорков важно расхаживают одна-две серые чайки. Ниже в задернованном склоне торчат из гнезд уже только головки топорков: благодаря клювам они отчетливо заметны. Норы у них тянутся в глубь дерновины иногда до двух метров. Между кочками по краю карнизов прекрасно утоптаны дорожки — это сеть сообщения песцов. Иногда под кочками встречаются их норы, — почти перед каждой на вытоптанной площадке следы пиршеств: то истерзанное крылышко, то скрученная лапка...

Поднимаюсь выше, обзор увеличивается. Сверху видно, как плещутся вместе с волной длинные разлатые пластины ламинарий: кажется, что все это происходит за стеклом гигантского аквариума. Вот лениво прошла, темнея мускулистой спинкой, крупная треска, до чего же она отчетлива, объемна в прозрачности воды! Словно смотришь кадр из фильма Ива Кусто... Широко разевая клювы, посвистывают чистики-каюрки — плотно сбитые, веселые птички. Кочкообразные склоны непропуска с южной стороны сплошь заросли желтыми одуванчиками, среди которых надменно и резко синеют стройные ирисы. Нахожу плотный белый гриб — он важничает среди цветов, словно королевская особа в окружении вассалов.

Примерно об этих местах геолог Йозеф Морозевич отозвался в 1903 году: «Серая безнадежная пустыня. Только в глубине долин и на склонах скалистых выступов глаз жадно ищет зелени, ковров дерна, а найдя — удивляется как редкости...»

Не хотелось бы упрекать его в ограниченности зрения, но куда же он смотрел?

Пора возвращаться в ту хижину, мимо которой я прошел днем.

Едва проветрил волглую одежду, сварил ужин — легла темнота. Зажигаю свечку и начинаю записывать впечатления последних дней — раньше не успевал. Пламя свечки колеблется, в щели дует, где-то под скалами ворчит и плещется океан.

На ночь с силой притягиваю щелястую трухлявую дверь, загибаю на ней толстые ржавые гвозди, чтобы не отворилась. Знаю, что годами здесь никто не ходит, кроме разве вездесущих песцов, а все же лучше запереться. Такова сила привычки: мой дом — моя крепость. Сразу чувствуешь себя спокойней.

Утро. Мне предстоит теперь перевалить остров через вмятину между горами. Но, во-первых, до вмятины шагать да шагать мимо топких озерц, через крючкова-тые заросли березового и ивового кустарника, через колдобины и ущелья, а во-вторых, вмятин здесь несколько, и я не уверен, что ориентируюсь точно так, как советовал в свое время Томатов. Выбираю на свой страх и риск наиболее приемлемый для меня в данных условиях маршрут. С трудом вырвавшись часа через полтора из низинной, совершенно выматывающей силы тундры, начинаю подъем на уже обдутые ветрами лы-соватые сопки.

Часто-густо попадают грибы — не прохожу мимо, рву подряд. Да какие грибы! Грибная элита, медаль

каждому на ножку вешать на золотой цепочке. Солоухина бы сюда, чтобы сочинил в их честь дифирамб, достойным образом воспел это изящество и совершенство форм, эту волнующую рьяность красок.

Раздолье здесь человеку, влюбленному в природу.

Нужно торопиться, чтобы спуститься до ночи к сияющему вдали морю Беринга. Но как пройти мимо кустика, усеянного шикшей так плотно, что сомкни лодочкой ладони — и сыпь в рот сразу горсть! Или по Фазилу Искандеру: «К земле простуженной приникши, ловлю губами капли шикши». Ягода не очень-то вкусная, зато немного утоляет жажду. Чем ближе к берегу, тем труднее продираться сквозь заросли, которые все больше идут здесь в рост, сатанински переплетаясь. Тундра сильно расчленена, исполосована ручейками.

Наконец берег. Толстый мыс. Я здесь впервые. Иду влево, вскоре должна показаться юрташка. Подхожу к ней уже в сумерках.

Юрташка хороша, я уже отвык от таких. Быстро развожу трескучий костер, жарю грибы, кипячу кофе. Обычное меню. Впрочем, грибы грибами, но не помещает и тушенка. Жесть неподатлива. Консервный нож, сорвавшись с добрым зарядом энергии, вонзается в руку выше кисти. Довольно глубокую ранку тотчас промываю тройным одеколоном. Лезвием ножа, накаленным в огне, давлю в порошок таблетку стрептоцида. Засыпав ранку, тщательно бинтую ее, помогая себе зубами. Все же пустяковое это ранение немного волнует меня. Бывало, в детстве палец соьешь — пылью присыпал и побежал дальше. Тогда сходило...

А в общем все это мнительность. Мнительность в свою очередь возникает от одиночества. Горькая штука одиночество, особенно если остаешься наедине

с пустыней. Сейчас Командоры — не пустыня, разумеется. А каково было тому Якову Мынькову, который прожил на острове Беринга, где не было еще ни живой души, семь лет кряду?!

История эта вкратце такова: в 1805 году штурман Потапов¹ высадил на островах одиннадцать промышленников Российско-Американской компании для заготовок здесь мехов. Однако он не возвратился за ними, как обещал. Причина этого неизвестна. Семь лет спустя талантливый мореход штурман И. Ф. Васильев пошел к островам именно затем, чтобы отыскать этих промышленных людей. Начал он с Медного — идя вдоль берега, напряженно смотрел в подзорную трубу. Уже под вечер увидел-таки в одном из заливчиков хижину, велел выпалить из пушки и направил корабль к берегу. Вскоре от берега навстречу отошла лодка, в которой сидели все оставшиеся в живых семеро русских (из десяти высаженных). Радости их не было предела. Всех их удалось уговорить остаться здесь же еще на один долгий год, как того, вероятно, требовали интересы компании (Васильев забрал только больного).

Эти люди смогли прожить на Медном семь лет в общем благополучно. А вот каково пришлось их товарищу, высаженному на Беринге в одиночестве «для караулу наловленного... промыслу»?!

Васильев разыскал и его, хотя уже, верно, не надеялся увидеть живым. Надо ли говорить, что к жизни на острове Яков Мыньков не был подготовлен и учился здесь всему заново, как будто только на свет родился?!

¹ По другим сведениям — Потап Зайков.

«Надобно было,— жаловался он Васильеву на свою судьбу,— доставать себе и пищу и одежду. Несколько дней я совсем ничего не ел; в реке рыбы много, но чем ее ловить? Нужда научила меня сделать из гвоздя уду, и я наловил себе рыбы. Тут надлежало подумать, как достать огня, в котором я имел нужду и для варения пищи, и для согревания себя от стужи. Долго не придумывал я способа; наконец вспомнил, что у меня, к счастью, была бритва. Нашел кремень, древесную губку от тальника, растущего на острове, и мне удалось высечь огонь. В жизнь мою ничему так не радовался, как тогда! На том месте, где меня высадили, мало было способов для пропитания, и для того я перешел на другую сторону острова и расположился жить при реке, в которой было много рыбы. На зиму опять возвратился на прежнее место, где нашел весь промысел песцов, оставленный мною в юрте и уже испортившийся. Я об этом не жалел, а думал только о своем спасении. Настала зима, юрту занесло снегом, платье и обувь все изнашивалось. Всего нужнее был для меня огонь, и я с трудом мог добывать его. Тут-то я горько плакался о своей бедной участи: оставленный всем светом на пустом острове, без пищи, без платья, без всякой помощи! Что было бы со мною, если бы я сделался болен? Пришлось бы умереть бедственной смертью! Тщетно я ждал своих товарищей, которые обещали за мною приехать, но не бывали. Я боялся, не потонули ли они, переезжая через пролив; или, может быть, приехало за ними судно и взяло их, а меня, бедного, оставили здесь без милосердия. Разные мысли приходили мне в голову и иногда доводили меня до отчаяния».

Рассказ грустный, но, к сожалению, очень неполный против того, что на самом деле испытал и пережил, обитая на безлюдном острове, русский промышленный

Яков Мыньков! Собственно, эти его скупые воспоминания касаются только первой поры пребывания на острове. А во все остальные годы?

Признаюсь, что вынашиваю план написать о Мынькове книгу. Книгу о русском робинзоне. А материала о нем почти никакого, кроме приведенного выше отрывка. Вот и хожу вдали от человеческого жилья, «собираю» подробности, додумываю ситуации, в которых мог здесь оказаться Мыньков, пытаюсь постичь природу одиночества.

...Однако что об этом рассуждать. Нужно идти дальше. И я иду и иду, сгибаясь под тяжестью рюкзака, пока не открывается передо мной бухта Командора. Новый памятник на могиле Беринга я вижу впервые: строгий металлический крест на чугунной плите. Говорят, высота этого креста — три с половиной метра. Виден он издалека, тем более, что окрашен серебрином, резко выделяющимся на сочной зелени склонов.

Читал я как-то книжечку о В. К. Арсеньеве, наведывавшемся сюда после гражданской войны. В ней достоверные факты и дневниковые записи самого Арсеньева перемешаны с явными небылицами. По-моему, лучше написать суше, скучнее, но точно. Так вот, обметая крылом куропатки камни и пропалывая сорняки (будто в огороде!), Арсеньев увидел длинную шпагу с погнутым концом и рукояткой из черненной латуни. На ее эфесе зеленела пластинка с буквами «В.Б.» Что ж, в 1891 году русская пограничная шхуна «Алеут» заходила на Командоры, и члены ее экипажа возложили эту шпагу на могилу Беринга. Сейчас она как будто находится в Хабаровском краеведческом музее. Дальше Арсеньев обнаружил на могиле «несколько золотых монет

из России, Дании, Голландии и Британии». Чего ради на могиле будут лежать именно монеты, да еще из стольких стран, да еще и золотые?! И все в подобном роде. Беллетрист — и то такого не сочинил бы. С грустью вспомнил я эту книжечку в молчаливой бухте Командора. Ибо ничто не вызывает у меня такого внутреннего протеста, как недостоверная документальная проза! Очерк есть очерк, что бы там ни твердили теоретики литературы. В нем недопустим вымысел хотя бы потому, что те, кто придет вслед за нами, изучая наши книги и пытаясь по ним что-либо исследовать и уточнить, будут элементарно путаться и недоумевать. Был введен однажды в заблуждение и я, когда упорно искал на Командорах вычитанные в книгах одного автора подробности. Мне очень важно было знать, соответствуют ли они действительности. Полагал, что в свою очередь и этот автор горы книг переворочал, прежде чем решился что-либо походя утверждать, да что там — просто ту или иную краску использовать. Если же ты что-то домысливаешь, заполняешь пустоты между известными тебе достоверными фактами игрой воображения, то и называй свое произведение рассказом, повестью или романом. Романизированной биографией наконец!

Когда-то, еще в 1763 году, Сумарков писал:

Тщетно глубины утроба
Мещет бурю, скорбь и глад;
Я у Берингова гроба
Вижу флот, торги и град...

Предвидение поэта в полном смысле не сбылось, ибо нет здесь удобных для флота стоянок. Для оживленного товарообмена тоже нашлись более подходящие места. Зато вот вездеходы сюда уже пробираются с гро-

хотом и лязганьем — и даже дальше, до Толстого мыса. А на вездеходах — досужие туристы и не туристы, те, которые почему-либо не согласны ходить пешком. Трава вдоль речушки примята гусеничными траками во всех направлениях — это понятно, в ней нерестится горбуша, у горбуши — отменного вкуса икра. Не столько могилу Беринга приезжали сюда смотреть, сколько горбушей полакомиться, благо, что рыбнадзор за всеми речушками не уследит. К кресту можно подойти с трудом: никаких тропинок, джунгли тальника, зонтичных и рододендронов, зато к речке — прямо-таки столбовые укатаны пути. Возможно, даже при существующем запрете лова лососей несколько рыб, пойманных путниками для питания, ни у какого рыбнадзора не вызовут нареканий. Дело, значит, не только в этом. Пожалуй, не следует вообще ездить на вездеходах в места, где зверь и птица еще не распуганы.

В самое последнее время сюда с острова Медного начинают мало-помалу мигрировать каланы. Приживутся ли они здесь под аккомпанемент всячески тарахтящего транспорта? Ведь на три четверти своей протяженности здешние берега для вездеходов доступны (как доступны и внутренние районы тундры).

Вольно или невольно, мне частенько приходится общаться с приезжими туристами и даже, если маршруты совпадают, служить им в некотором роде проводником и гидом. В большинстве это народ молодой, образованный и хорошо зарабатывающий, что немаловажно, пока билет из Москвы до Командор стоит почти двести рублей. Военнослужащие, ученые, инженеры-северяне. Как правило, они заранее посмотрели какие-то фильмы, что-то прочитали, и все это лишь разбредило их любопытство. Запомнилась девушка, инженер-строитель из Норильска, Бэла Просёлкова (даже фамилия

у нее уютно-путевая, пешеходная!). Коренастая фигурка, обветренное лицо, шелушащийся нос, пытливый взгляд... и ко всему решительно, что связано с островами, неумный интерес («Все научно-популярное и о путешествиях — моя страсть», — заявила она). Беринг и Стеллер, Роберт Скотт и Амундсен, Кастере и Бомбар не сходят с ее уст.

Глядя на этих ребят, деля с ними общие ночевки и кусок хлеба, у меня не повернется язык заявить, что я в принципе против туризма на островах. В конечном счете это явно не государственный подход к решению проблемы. А для меня лично и своекорыстный: я-то Командоры исходил вдоль и поперек. Почему же это должно быть заказано другим?.. Той же Бэле Просёлковой? Пока она молода, здорова и горит желанием — пусть ходит и смотрит, путешествия закаляют дух и тело, расширяют кругозор...

Но я категорически против пустыни, которую нередко оставляет после себя плохо организованный либо вовсе «дикий», ни за что решительно не несущий материальной ответственности турист. Я против потребительского, а то и просто хищнического отношения к природе, которым грешат иные туристы. Наконец против стихийной сувениромании, которой все они без исключения заражены. Хорошо, если турист увезет домой зуб сивуча, кашалота или бутылку необычной формы. Никто его не упрекнет и за горсть гладко отшлифованных накатом полудрагоценных опалов, гелиотропов, яшм и узорчатых агатов (нигде больше вы не найдете такой россыпи чудесных минералов, как в бухте Буян на острове Беринга). Словом, камней, пока они еще есть, не жалко.

Плохо, если в число сувениров попадают выделанные тюленьи шкуры, чучела редких птиц, да мало ли

что еще! Даже документы, представляющие историческую ценность (ведь здесь всегда хватает участников самых различных экспедиций). Увез же кто-то отсюда и подозрную трубу, о которой я писал в одной из предыдущих глав (в местном музее есть похожая, но совсем другая труба — видимо, с медновских лежбищ).

Но что думают относительно развития здесь массового туризма местные власти? Разговоров много самых разных и противоречивых. Уже кем-то вроде бы подсчитано, что Командоры смогут принять за сезон до 50 000 туристов, как наших, так, возможно, и зарубежных. Небывалый этот наплыв должен привести к расцвету экономики района, к размаху строительства, — тут уж одной столовой не обойдешься: понадобятся ресторан, кафе, гостиницы и т. д.

Это завтра. А сегодня?

— Выгоды нам от этих туристов пока никакой, — откровенно сказал мне Василий Андреевич Дергунов. — Народу приезжает много, но ведь продовольствием нас снабжают строго по числу жителей. Должен же быть какой-то экономический эффект, определенная взаимопомощь. Да и наука своего заключения еще не дала. Все-таки, здесь котики, лососи, редкая фауна...

Вопрос, как принято говорить в подобных случаях, остается открытым. Хотя летом 1971 года ПЕРВЫЕ группы организованных туристов с путевками на руках, все как положено, проложили ПЕРВЫЙ четырехдневный маршрут по острову Беринга. С заходом на озеро Саранное, где их гостеприимно угостили свежей ухой (вернее, лососями, уху варили сами), и посещением лежбища котиков.

Лиха беда начало.

Уже двадцать первое августа. По уговору Эдик ждет меня до утра двадцать четвертого. Теперь можно и не торопиться. Завтра встречу с ним. Остается лишь снова пересечь остров — в направлении к Тихому океану.

Но что такое — я не узнаю речки Половины, за которой рассчитываю переночевать в юрташке. Никогда она не была так глубока, ведь я переходил ее вброд много раз. Даже в коротких резиновых сапогах. Сейчас, правда, прилив, но и выше по течению я не могу отыскать подходящего места для того, чтобы перебраться. К тому же здесь туча комаров. Раздеваюсь, скидываю рюкзак повыше. Комары грызут тело с остервенением, а я даже отмахнуться не могу. Вода ледяная. Дно густо усеяно камбалой, заиленной, сверху почти незаметной, похожей на плоские тарелочки. На одну зазевавшуюся наступил — она щекотно выскальзывает из-под пятки. Наконец-то вот он, противоположный берег.

Но комары не дают покоя и в юрташке. Тщательно законопачиваю все щели. Сплю с удобствами.

С утра наваливается облачность, сыро, сыкотно, сквозит местами туман. Высоченная трава гнется под обильной росой. А мне пробиваться через нее к бухте Гладковской!

В обратном направлении, из бухты Гладковской к могиле Беринга, проходил и Арсеньев со спутниками и проводником-алеутом. У автора, очерк которого я уже упоминал, предприятие это описано как смертельно рискованное: «Земля стала мягче и влажнее. Запахло тиной торфяных болот. Местами отряд шел по зыбкой моховой коре над трясинной». Места, по которым как раз я сейчас иду. Хотелось бы и мне написать что-нибудь этакое о зловещих трясинах, подстерегающих

путника, только вот беда — нет их и в помине. Встречаются, правда, на островах так называемые «волчьи ямы». Течет, например, невидимый подземный ручей. Кое-где на поверхность выходят воронки-отдушины. В такую воронку можно провалиться довольно глубоко, можно и ногу сломать. Но за всю историю (говоря высоким штилем) никто ничего не ломал. А в книге дальше — хуже: «Но вот гнилостный запах болота стал резче. Алеут впервые за долгий путь нахмурился и, став тревожно серьезным, громко предупредил:

— Все идите только за мной!

Но и эта предательская топь, где один неверный шаг в сторону грозил смертью, осталась позади».

Комментарии, пожалуй, излишни. А ведь беспристрастный и точный рассказ о походе Арсеньева через эту тундру, насыщенный живыми подробностями, был бы куда ценнее и полезнее для читателя. Между тем автор решительно не замечает, что подобным сочинительством лишь дискредитирует доброе имя известного путешественника и писателя.

Меня иногда спрашивают, зачем я хожу и хожу по островам, какую, собственно, преследую цель. Ну, одну из причин я уже объяснил, когда рассказывал о Мынькове. Можно объяснить и другие. Во-первых, из чисто спортивного интереса, без всякой, пожалуй, цели — люблю ходить по диким пустынным местам, дыша полной грудью. Где же еще и походить, как не здесь? Во-вторых, ради фотоохоты, — чем дальше от села, тем она успешней. В-третьих, чтобы не выдумывать подобных «предательских топей». Да ведь не побывай я здесь дважды — возможно, и поверил бы! И наконец, в-четвертых — я всегда лелею надежду за тем либо следующим мысом повстречаться с Неожиданным и Неиз-

веданным. Меня поразил однажды рассказ капитана сейнера «Елец» Николая Семеновича Давыдова. Ему посчастливилось увидеть при полном штиле в проливе между островами нечто почти невероятное. Здесь, как он утверждает, спало огромное стадо китов-кашалотов. Голов пятьсот, сказал Давыдов. Если их была всего сотня — и то зрелище из ряда вон... Они не реагировали на шум двигателя, на крики, даже на то, что в одного выстрелили из карабина: киту это все равно, что укус блохи.

— Почему же вы не сфотографировали это фантастическое скопище китов?— вскричал я.— В мире нет ни одного подобного снимка!

— Если бы знать...— развел руками Давыдов.— Фотоаппарат был не заряжен. А потом и стадо мало-помалу раскачалось, завздыхало и преспокойненько ушло. Мы от него на сейнере подальше, подальше, чтобы не растоптали ненароком.

Вот капитан Давыдов уже, пожалуй, повстречал свое Неожиданное и Неизведанное. Ведь даже легендарный капитан Ахав из романа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит» не смог бы утверждать, что ему случилось видеть нечто подобное.

Потому и хожу. Стараюсь рассмотреть остров в микроскоп. Стараюсь ничего, даже самую малость, не упустить. Раскол, к примеру, неугомонный Отто Шмидт каменную плиту осадочного происхождения — а там отпечаток ископаемой рыбы чуть ли не метровой длины. Очень я доволен, что мне посчастливилось оказаться «на месте происшествия» и помочь погрузить эту глыбу в вездеход. А кстати, что за диковина? Пока и Шмидт этого не знает. В Москве палеонтологи разберутся.

Плутая по распадам, зорко смотрю на окрестные

вершины-ориентиры. Чем ближе к перевалу, тем оголеннее сопки, и поэтому легче становится идти. На продолговатых хребтинах увалов начинают мелькать грибы. Сперва один замаячил, потом пять сразу, потом немоготу уже их собирать. Да и некуда, разве за пазуху?

Но вот взблеснул вдали океан, отвлек внимание.

В прибрежном кустарнике каждый шаг пришлось пробивать не столько ногами, сколько грудью, однако описывать этого не буду. Скоро ли, нет ли, вхожу в траву близ кормушки, ныряю в нее, как в зеленый омут. Вьется поодаль голубой дымок, словно нежная гриновская девушка приветственно машет платочком, зовет к себе. Подстраиваясь под этот желанный дымок, я даже запеваю некую песенку, но голос мой, видимо, так слаб, что Эдик меня не слышит. Нет, не гриновская девушка, не командорская Ассоль или Дззи, а именно Эдик. Я и этой встрече бесконечно рад! Одиночество все-таки немного меня угнетало.

Наконец увидев меня, Эдик шумно выскакивает из высоченной травы. Усы встопорщены, золотой зуб празднично сияет. Обнимаемся, хлопаем друг друга, он что-то возбужденно тараторит.

Но какой тут у него везде порядок! Натаскал кучу дров, соорудил подобие столика, по сторонам костра — чурбаки для сиденья. Жил он здесь прочно и увлекательно, совершал вылазку на природу, подкармливал песцов.

— Знаешь, они ко мне в кормушку стали запросто приходить! У костра грелись. Малыши у них страшно забавные.

Отдаю грибы в длинном, как кишка, полиэтиленовом пакете. Эдик на минуту скрывается в кормушке. Выносит оттуда японскую пластмассовую миску, какие ча-

сто выбрасывает здесь море, жестом фокусника сдерживает с нее дощечку. Миска почти до краев наполнена светящейся икрой горбуши — зерно к зерну, ни одного мягкого... Вот это мастер! Вот это хозяин!

— У меня и рыба жареная есть. И ликер, я его не пил, ждал тебя. Разве только глоток, когда возвратился с той чертовой горы, где мы расстались, — сокрушенно признается он. — Вот тогда настроение было скверное, немного глотнул...

Как прекрасна жизнь, когда все в ней складывается по плану, и не льет покамест дождь! И когда часы досуга в глухом краю коротает с тобой занятный попутчик.

Утром, пока мы умываемся, песец тут же в речушке охотится за горбушей. Изредка я смотрю на него с ленивым любопытством: напрасны, мол, все твои старания. Однако он тут же, словно мне назло, выхватывает из струящейся ряби увесистую горбушу и смотрит на меня, и смотрит: поучись, мол... Я досаую, что нет фотоаппарата, а бежать за ним некогда: песец уже юркнул в заросли. Жаль. Не часто такое увидишь. Зато на рыжих скалах меня ждет удача: здесь подобно реактивным истребителям с шумом проносятся ипатки.

Трехсотмиллиметровый телеобъектив, такой удобный для съемок малоподвижных объектов, ничего не схватывает, ипатки тонут в его зернистой глубине, как в колодезе: мелькнет что-то неразличимое и тотчас растворится. Ввинтив телевик послабее, получаю возможность не только поймать ипатку в видоискатель, но даже вести за ней камеру в поисках лучшего фокуса. Наверное, со стороны я напоминаю пулеметчика, изо всех сил старающегося поймать самолет неприятеля в перекрестье прицела.

Погода окончательно портится, но пока еще не моросит. Мне крепко врезается в память последняя деталь этого одиннадцатидневного увлекательного путешествия: на волнах у бухты Полуденной покачивается оранжевый шар, точно такой, какой висел некогда в избушке у Бориса Хромовских. Он кажется игрушечным солнцем, вынырнувшим на рассвете из морского рассола. Пусть даже игрушечным. Потому что подлинного солнца, что ни говори, здесь маловато.

«КОЭФФИЦИЕНТ-2»
И УВЛЕЧЕННОСТЬ



Сказать, что для командорцев магическая формула «коэффициент-2» не имеет особого веса, значило бы подойти к вопросу с позиций вульгаризаторских и поверхностно. Все-таки зима здесь тянется долго, настоящего лета не бывает, есть роскошные пляжи, но в море не сунешься, люди живут в условиях повышенной влажности, буквально пахнут туманами как духами. Не видя солнца, растут дети — и многим из них этот климат совсем не впрок. Так что двойной оклад — это справедливая компенсация за то, что человек так или иначе здесь теряет.

Но если бы меня спросили, главная ли это побудительная причина у тех, кто рискует ехать сюда, на край земли, я сказал бы, что нет, не главная. Дело не только в «коэффициенте-2», но и в особой окраске этой земли, в особенности природных явлений, в удивительном их стечении и взаимодействии, в сыром и могучем дыхании океана, качающем на груди своей исполинских китов, во всем том, что связано с разнообразными влияниями океана на окружающую среду. На человека такие вещи действуют в той же мере, что и обстановка мешерских лесов или, скажем, жизнь в раздольных степях с их тонкими рассветами и закатами, с охотой на дроф или ночными рыбалками. Только многим из нас это уже как бы примелькалось, а тут, на островах, почти постоянен в житейских буднях острый привкус неизведанности. Многие настолько втягиваются в но-

вый строй ощущений, что уже и не мыслят своей жизни где-нибудь помимо Командор.

Вон инспектора рыбоохраны Егора Томатова даже Антарктида не соблазнила, — ну да, прямо скажем, в сравнении с Антарктидой на Командорах рай. Недаром с 1939 года капитально обосновалась здесь четверка однополчан: И. М. Вожилов, Н. С. Коломийцев, И. И. Беседин и уже известный нам Иван Федорович Скрипников.

Артем Макарыч Артюхов, бывший начальник милиции, тоже давным-давно пустил корни в островную землю, — дети у него здесь родились и здесь поженились, ответвились, таким образом, новые, еще более прочные корешки; старший сын Валентин ездил к родне на Ярославщину, что-то шибко ему там не показалось, — то ли океан не шумит, то ли охоты нет, душе негде разгуляться...

Капитан Давыдов вообще-то мой земляк. Из Краснодар. Но познакомился я с ним на Командорах. Что можно о нем сказать? Умеет человек работать, любит работу. Трудяга. И орден Трудового Красного Знамени он недавно получил именно за напряженный труд. В маленькой флотилии командорского зверокомбината сейнер «Елец» всегда впереди. Выше, чем у других, процент перевозки грузов между островами — котиковых шкурок, продовольствия, ширпотреба. Выше уловы камбалы, окуня и трески для клеточного зверя. Сейчас, когда сдан в эксплуатацию холодильник и появилась возможность хранить рыбу про запас круглый год, летом приходится работать каждому за троих. Вот и работает капитан Давыдов за троих. Потому что зимой всем судам текущий ремонт, все они будут на берегу. Очень опасно плавать зимой у этих берегов, когда ветра дуют ураганные...

— Когда же в Краснодар?— спросил я у Николая Семеновича, заглянув к нему однажды на сейнер.

Он смотрел на меня добрую минуту с некоторым как бы даже недоумением.

— Да не поеду я в Краснодар, разве только в отпуск когда.— Поразмыслил немного, что-то прикинул.— Я, пусть какой-никакой, но все же капитан? Работы там, конечно, с избытком, найдется и для капитанов, река Кубань большая. Но не в этом же дело. Главное — чтобы работа волновала, влекла, ну, как говорят, была по тебе. Сколько бухт на островах, каждая в своем роде — и везде мы ловим рыбу, каждый день новое, это зверье удивительное, птичьи базары, интересно же... Не скучно, понимаете? А когда не скучно, то и работа идет будто ее и не замечаешь. Работа — она, скажем прямо, особым весельем не отличается, да еще когда штормит, да мокрый с головы до ног. А все же нет в ней обычной монотонности, каждый вновь поднятый куток с рыбой не похож на предыдущий, сулит что-то такое кроме чистого веса, ведь дно моря всегда загадка. Вот и сувенирчиками увлекаюсь, собираю всякое разное.— Он махнул рукой в направлении рубки, где и впрямь я заметил, а потом и ощупал несколько любопытных вещиц: зуб кашалота, красную ветку гибкого коралла, квадратную бутылку.— Зуб кашалота на скале обнаружил, ну, как он туда попал, ума не приложу? Песец разве затащил? Да, так о чем мы?.. Об интересе, об увлеченности. И, прямо скажем, о выгоде. Вот сейчас, летом, знаете, какой у меня бывает иногда заработок? В прошлом месяце я получил, к примеру, восемьсот на руки. Чистыми. И среднемесячный в году в общем неплохой получается. Допустим, я капитан, но на «Ельце» и матросы прилично зарабатывают.

Вот идет по Никольскому всегда улыбающийся,

жизнерадостный Юлий Арбитжер, ответственный секретарь «Алеутской звезды», — крепенький, плотный, в очках. С таинственным видом показывает тем, кто знает в этом толк, то какую-то электрическую мигалку, выброшенную морем, то редчайший (по его мнению) агат «тигровый глаз» из бухты Буян (у него в квартире настоящий музей островных диковин, и чего там только нет! Ознакомиться с его экспозицией стремятся все приезжие корреспонденты).

Позволив себе усомниться в том, что агат — именно «тигровый глаз», а не какой-нибудь другой, я не в первый раз уже интересуюсь, когда же он отчалит в родную Москву, ведь почти шесть лет здесь живет. Притом и заработок далеко не тот, что у Давыдова, никаких особых доходов.

— Ай, брось! — отмахнулся Юлий. — В Москве меня пока не ждут. Если же серьезно — еще один годик, и баста. Впрочем, это не тема для беглого разговора. Скажи лучше, что ты собираешься нам дать в субботний номер? Как так ничего?.. Ну, знаешь, этот фокус у тебя не пройдет. А вот то самое... помнишь, ты рассказывал... если немного подсократить, а?.. Словом, я тут достал кусок кижуча, сварил та-акую уху, пойдем похлебаем, заодно обсудим подробности.

Вот так у него и проходят «годик за годиком», и все на командорской земле. Полагаю, не вечно он тут будет жить, но такое пристрастие типичного горожанина, уроженца столицы, к самой дальней нашей океанической земле о чем-то да говорит. Прежде всего о том, что земля эта будто магнит притягивает, держит. Да что там, она обладает почти необъяснимой притягательной силой!

Приехал в село крупный ладный парень в защитной форме, — видно, не так давно отслужил. Виктор Би-

денко. Толковый механизатор. Прекрасные отзывы. Серьезный, вдумчивый. Не пьет и даже не курит. Характер! Обживает на новом месте обстоятельно, не спеша — судя по всему, на многие годы. Женился на маленькой боевой алеутке. Для начала научил свою Надю водить трактор (и ведь водит, да еще как лихо!), вообще старается привить ей любовь к технике.

Однажды маляры принесли испорченный краскопульт, — Биденко кивнул:

— Оставьте, Надя сделает.

— Да что там твоя Надя сделает, — возмутилась Лена Скрипникова, тоже командорский старожил, она и родилась на Камчатке, — мы и сами так можем сделать. Нам срочно нужно!

— Сделает, я вам говорю. Надя сделает.

С некоей даже истовостью воспитывает Биденко в жене чувство самоуважения, ответственности за порученное дело, за «марку семьи» наконец!

Желающих приехать сюда много, но командорцы сами выбирают нужных им людей — по письмам, которые поступают в райисполком и райком партии. Отбор, как правило, пристрастный, тщательный, хотя бывают и досадные промахи. Народу в общем и своего достаточно, здесь ведь ни промышленности, ни крупного строительства, и предпочтение отдается специалистам. Правда, летом иногда приглашают на сезон рабочих, пока в хозяйстве горячая пора: промысел котика, сенокос, заготовка силоса... Десятка два-три и то лишь на время.

Жилищной проблемы, можно сказать, на островах нет. Дело в том, что старое село Никольское расположено прямо на берегу океана. И хотя никогда на памяти людей даже после сильных землетрясений не приходила сюда волна цунами, способная снести и смыть все на

своем пути, но возможность ее появления не исключается. Потому-то решено было построить новый поселок на возвышенности, куда никакая цунами не доставит. Построить из прочного бруса, на устойчивых против сейсмических толчков железобетонных основаниях. Теперь он построен, виден издали, двухэтажный, нарядно окрашенный в голубой, зеленый и светло-коричневый цвета.

Новички обычно поселяются наверху — у них сразу все удобства, водопровод, канализация, паровое отопление, ванна. В последнее время и старожилы наверх тянутся, хотя и не все: привыкли к своему жилью, кроме того, внизу напор воды как будто лучше. И все же многие дома внизу пустуют. Когда-нибудь их снесут, но пока жалко, могут еще пользу принести.

После сильных подземных толчков жители нижнего поселка бегут наверх, где их, конечно, охотно принимают: в тесноте да не в обиде. Основательно, до семи баллов, потрясло здесь в ноябре и декабре 1971 года. Последствий, собственно, никаких, если не считать, что свалилось три печных трубы да хрупкая посуда пострадала. Конечно, в большом многоэтажном городе могли бы быть жертвы и материальный урон. Здесь землетрясения переносятся спокойней. Хотя и жалко посуды. К тому же ощущение далеко не из приятных, когда земля под ногами становится ненадежной и зыбкой, как надувной матрац.

Тем не менее мало кто отсюда уезжает, разве только заставит болезнь либо слишком уж помидоров и винограда захочется.

Что же, одни увлеченные здесь живут, одни романтики, для которых, если верить популярной песне, чем больше тумана, тем лучше? Да нет, попадаютсся и стяжатели, можно сказать, целеустремленные рвачи. Из

тех, что приехали «сколотить на машину» и не скрывают этого. Обычно они работают на ставке и полставке, ищут сверхурочный приработок да еще чтобы с аккордной оплатой. Но я не поручусь за качество их работы. Честное слово, это тяжелые и малоприятные люди, психология которых всегда была мне чужда и непонятна. Им некогда оглянуться, книжку почитать, в тундру за грибами сбегать.

И все же не хочется о таких писать, добавлять в книгу эту ложку дегтя. В конечном счете ведь не они погоду делают. Не они сажают цветы. Говорю не красного словца ради: у иных энтузиастов-цветоводов растут в Никольском под окнами домов анютины глазки, гвоздики, хризантемы, маргаритки...

Пусть и запомнятся нам Командоры не столько пасмурными и дождливыми, сколько щедро усеянными цветами: в долинах и на склонах сопок их бывает столько, что от запаха как бы немного хмелеешь. А еще говорят, что в тундре цветы не пахнут!

Пора улетать — чтобы возвратиться сюда, не совладав с душевным влечением, еще когда-нибудь. В седьмой или восьмой раз. Может, даже — на несколько лет. Пора запускать моторы, говорю я, но летчики явно нарушают расписание, пользуясь тем, что погода устойчива: бродят неподалеку от взлетной площадки и собирают грибы. Рейсы сюда для них в эту пору желанны.

Потоптавшись в нетерпении около серебристого трудяги — старичка ЛИ-2, извлекаю и я сеточку, ухажу в тундру. Худо-бедно наберу с ведро, если сетка позволит.

В Петропавловске останавливаюсь у друзей с ночевкой.

— Ирина,— небрежно говорю хозяйке,— принимай тут мелочишку. Сковородки на две хватит.

У женщины изумленно округляются глаза.

— Н-ну да-а, две сковородки...

Она недоверчиво щупает плотно сбитые шляпки, бегло сортирует их по цвету и размеру, любовно поглаживает. Наконец отламывает краешек, обнажая тугую мякоть.

— Совершенно нечервивые грибы! И сколько белых!— Она смотрит на меня в недоумении.— Но откуда у тебя эта прелесть?

Говорю вполне серьезно:

— Такие только на Командорах — и больше нигде в мире.

1959—1972 годы,
Командорские острова —
Краснодар.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Командоры зовут	6
Первые встречи в Никольском . . .	12
Бусы и пушки экспедиции Беринга .	28
Люди великого долга	46
Алеуты	78
Бумаги, найденные в домике ТИНРО .	108
У медновских круч	142
Берег морских бобров	162
Село Преображенское	194
На лежбище Северном	216
Поход к мысу Манати	226
«Козэффициент-2» и увлеченность .	274

Леонид Михайлович Пасенюк

ИДУ ПО КОМАНДОРАМ

Редактор **И. В. Червяева**. Художник **И. П. Захарова, Е. С. Скрынников**. Художественный редактор **В. В. Щукина**. Технический редактор **В. А. Авдеева**.
Корректор **А. В. Конкина**.

Сдано в наб. 23/II-73 г. Подп. к печ. 7/XII-73 г.
Формат бум. 70×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 9,0+16 вкл.
Усл. печ. л. 14,0. Уч.-изд. л. 12,91. Изд. инд.
ХД-353. А12998. Тираж 50 000 экз. Цена 61 коп.
в переплете. Бумага № 2.

Издательство «Советская Россия».
Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25. Заказ № 1239.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы
об этой книге и пожелания
присылать по адресу:
Москва, проезд Сапунова, 13/15,
издательство «Советская Россия».

В серии

«В семье российской, братской»

ВЫХОДИТ книга:

**Алдын-оол Даржаа. Экии из Тувы. 10 л.,
цена 65 коп.**

«Древняя земля моих предков. Мне хорошо думается, когда я стою на остром гребне твоих гор, когда хожу среди твоих берез и тополей, когда лежу на твоей мягкой луговой траве, забыв про пуховую подушку...» — так пишет о своей родной Туве писатель и поэт Алдын-оол Даржаа. Автор оригинально построил свою книгу, перемежая стихи и прозу. Это поэтический рассказ о природных контрастах республики, где встречаются север и юг, об охоте на соболя и степных антилоп, о знаменитом тувинском асбесте и ртути, о кобальтовом комбинате, о людях, добывающих эти богатства, о песнях радости возрожденного Октябрем народа.

В серии
«Люди Советской России»

вышла книга:

Костюковский Б. А., Табачников С. М.
Нефтяные короли. 240 стр., цена 40 коп.

Повесть посвящена жизни и работе Дзандара Такоева, человека сложной и приметной судьбы.

Начав свой трудовой путь с рабочего нефтяного промысла в Башкирии, он руководил объединением Куйбышевнефть, а сейчас находится на посту заместителя министра нефтяной промышленности СССР.

Лауреат Ленинской премии Дзандар Такоев принимал самое прямое участие в разработке новейших методов разведки, бурения и промышленного освоения нефтяных богатств Башкирии и Средней Волги.

В книге также рассказывается об известных нефтяниках страны, которых прославленный Абдулла Сабиразянов — один из героев этой книги, — называет «нефтяными королями».

В серии

«По земле Российской»

ВЫХОДИТ книга:

Ю. Казаков. Северный дневник. 18 л., цена 60 коп.

«Северный дневник» — поэтическое документальное повествование о поездках писателя на Север, о труде и быте архангельских и мурманских рыбаков, о мужестве, силе и красоте людей, живущим там.

Юрий Казаков, влюбленный в Север, в каждую свою поездку открывает для себя и читателей новые, не замеченные им раньше краски природы, неисчерпаемые в своей неповторимости характеры. Построенная из очерков и документальных рассказов — «На Мурманской банке», «Какие же мы посторонние», «Белые ночи» и других, — книга в целом дает широкую картину жизни на Севере. Писатель щедро делится тонкими ощущениями, интересными мыслями о Севере, где «робкую землю заливают нестерпимым светом». Именно здесь он много размышляет о месте человека на земле, остро чувствует влюбленность в жизнь и людей.

166



55°



166°



ландора
лиера

ланани

Бобрине Кашни

село Преображенское

бухта Корабельная

остров
Медный

55

61 к

Советская Россия

18

МАТРОМОНАТОРЪ